



СЛУЖАНКА
для
ПЛЕННИКА
КРОВАВОГО
ГЕРБА

АНДРЕЙ ГРАЧЁВ

Андрей Грачёв

**Служанка для Пленника
Кровавого Герба**

«Литнет»

2026

Грачёв А.

Служанка для Пленника Кровавого Герба / А. Грачёв —
«Литнет», 2026

Опасный пленник. Тихая служанка, которую никто не замечает. Кровавый герб, за которым скрыли чужое предательство. И город, который можно спасти только руками человека, приговорённого как чудовище. Аньезе служит в богатом доме и привыкла быть невидимой. Ей доверяют ключи, письма и тайны — не из уважения, а потому что такая девушка кажется слишком простой, чтобы стать опасной. Но однажды в верхнюю комнату привозят пленника с кровавым гербом. Его называют убийцей, предателем и зверем, которого нельзя выпускать без цепей. Аньезе велят носить ему воду, менять повязки и слушать каждое слово. Она должна следить за чудовищем. Только очень скоро понимает: настоящий зверь ходит по дому свободно. Если Аньезе промолчит, пленника казнят, а город откроет ворота врагу. Если поможет ему — сама станет предательницей в глазах тех, кому служила всю жизнь. Она не красавица. Не знатная дама. Не героиня песен. Она всего лишь служанка, которая увидела правду.

© Грачёв А., 2026

© Литнет, 2026

Содержание

Глава 1. Девушка, которую не замечали	5
Глава 2. Пленник в верхней комнате	12
Глава 3. Кровавый герб	24
Глава 4. Дочь, о которой не говорят	35
Глава 5. Верность дому	44
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Глава 1. Девушка, которую не замечали

В доме синьора Орландо Белланди умели говорить о милосердии так красиво, что у бедных женщин на церковной паперти дрожали губы. По воскресеньям сам хозяин, широкий в плечах, седобородый, с тяжёлым золотым перстнем на пальце, стоял в семейной капелле под образом святого Витторе и слушал мессу с таким благочестивым лицом, будто все его счета на земле уже были переписаны ангелами на небесный лад. Он клал монеты в чашу для сирот, жертвовал в госпиталь старое бельё, велел раздавать хлеб у задних ворот и непременно говорил при гостях, что богатство дано человеку не для гордости, а для ответственности перед Господом.

А в понедельник утром тот же синьор Белланди мог два часа торговаться с вдовой кожевника из-за просроченного долга, пока женщина не соглашалась отдать ему мастерскую покойного мужа вместе с домом, где у неё ещё спали трое детей. В среду он писал письмо капитану городской стражи с просьбой ускорить взыскание с должника, который лежал в горячке. В пятницу принимал в кабинете человека из судейской канцелярии и, не повышая голоса, решал, кому оставить землю после смерти старого нотариуса, ещё не умершего, но уже достаточно слабого, чтобы его наследники начали продавать обещания. Дом Белланди был большим, благочестивым и уважаемым. В Сан-Витторе это значило, что в его стенах часто произносили имя Бога и почти всегда помнили цену человеческой нужды.

Аньезе служила в этом доме третий год и давно научилась не удивляться разнице между воскресеньем и буднями. Её взяли не из милости, хотя госпожа Белланди любила говорить именно так. После смерти отца, мелкого писаря при складе флорентийских сукон, у Аньезе осталось несколько книг, два платья, ларчик с отцовскими перьями и долги, которые родственники сочли слишком скромными, чтобы из-за них помогать, но слишком настоящими, чтобы их можно было забыть. Мать умерла раньше, ещё во время весенней горячки, и к семнадцати годам Аньезе оказалась в положении, в каком часто оказываются девушки без приданого, красоты и сильной родни: всем было её немного жаль, но никто не хотел, чтобы эта жалость стоила слишком дорого.

Синьора Изабетта Белланди, жена хозяина, взяла её сначала для мелких поручений при внутренних покаях. Не на кухню, где девушки быстро грубели от пара, ножей, криков и мужских рук у чёрного входа; не в прачечную, где кожа трескалась от щёлока и зимой девушки кашляли так, будто в груди у них гремели камешки; а наверх, туда, где пахло воском, сухими травами, розовой водой, чернилами и сложенным в сундуки льном. Аньезе носила бельё, воду, записки, грелки, молитвенники, лекарства, чистые платки для гостей и грязные платки после гостей. Она знала, в какой комнате после какой беседы становилось слишком тихо. Знала, кто пил вино разбавленным, а кто крепким. Знала, какая дверь закрывалась на крючок, а какая на ключ, и почему некоторые люди уходили не через парадную лестницу, а через боковой коридор у кладовой.

Ей доверяли именно потому, что не видели в ней опасности. Это была странная, почти обидная форма доверия, но Аньезе рано поняла, что в мире господ даже обида может служить крышей над головой. Она была не уродлива, нет; Господь не отметил её лицом так жестоко, чтобы люди оборачивались вслед. Но и красоты в ней не было той, из-за которой мужчины начинали говорить глупости, а женщины — следить за дверями. Лицо у неё было слишком серьёзное для молодости, с острыми скулами и внимательным взглядом, от которого некоторые чувствовали себя неуютно, хотя не могли объяснить почему. После детской болезни на левой щеке осталась едва заметная неровность кожи, видная только при ярком свете, но госпожа Белланди замечала её всегда, как замечала пятно на скатерти или криво поставленную свечу.

Волосы у Аньезе были тёмные, тяжёлые, непослушные; она прятала их под простой белый чепец так тщательно, будто боялась, что даже прядь может быть принята за дерзость.

— Наша Аньезе хороша тем, что на неё можно положиться, — говорила синьора Изабетта гостям, когда хотела похвалить служанку и одновременно напомнить ей место. — Она не из тех девушек, из-за которых мужчины теряют разум. Тихая, неброская, аккуратная. В доме такая нужнее красавицы.

Гости обычно улыбались, кто снисходительно, кто равнодушно, а Аньезе принимала эти слова с опущенными глазами, потому что служанка, которая умеет понимать унижение, но не показывает этого, живёт дольше служанки гордой. Впрочем, иногда ей казалось, что госпожа Белланди говорит это не только о ней. В доме был портрет молодой девушки в голубом платье, висевший в маленькой галерее между молельней и покоями хозяйки. Девушка на портрете была красива той тонкой, тревожной красотой, которая будто заранее знает, что её будут оплакивать. Её звали Лаура. Старшая дочь Белланди умерла до прихода Аньезе, и в доме о ней говорили редко, а когда говорили, то так, будто каждое слово могло потревожить не мёртвую, а живых.

Аньезе научилась ходить мимо портрета бесшумно. Ещё она научилась запоминать всё, что другие забывали сразу после приказа. У какого нотариуса красные чернила гуще, чем у остальных. Каким воском запечатывает письма синьор Белланди, когда пишет в ратушу, и каким — когда письмо должно уйти ночью. Какие ключи звенят чисто, а какие с глухим надрывом, потому что их часто носят в потной ладони. Она читала лучше многих слуг и считала быстрее младшего управляющего, но это умение тоже было частью её невидимости. Господам нравилось, когда служанка могла без ошибки донести письмо, прочитав имя на свёртке или сверить число простыней в сундуке; им не нравилось думать, что та же служанка способна прочитав смысл между строк.

Утро, когда в Сан-Витторе привезли пленника, началось с колоколов. Они били не празднично и не похоронно, а тревожно, с короткими промежутками, будто сам город кашлял железом. Аньезе в это время стояла в бельевой комнате и пересчитывала полотенца для гостей, которых ждали к вечерней трапезе. За окном просыпалась улица: торговцы поднимали ставни, мальчишки тащили корзины с зеленью, из кузницы доносился первый удар молота. Небо над крышами было бледное, с тонкой полосой золота над восточной стеной, и на мгновение город казался таким мирным, будто не жил последние недели слухами о войне.

Слухи пришли раньше пленника. Сначала говорили, что у южной дороги сожгли деревню Санта-Марта, где останавливались посольские люди из Лукки. Потом говорили, что послов убили в часовне, а тела оставили у колодца под знаменем Валькастро. Потом — что это сделал сам Асканио ди Валькастро, кондотьер, которого ещё прошлой зимой приглашали на переговоры как возможного союзника, а теперь называли волком, мясником и проклятием наёмных войн. На площади появились дешёвые листки с его гербом: красный щит, рассечённый тёмной полосой, похожей на засохшую кровь. Мальчишки покупали эти листки за мелкую монету и протыкали нарисованный герб палками, изображая казнь. Женщины крестились. Мужчины спорили, следует ли судить такого человека или сразу повесить у городских ворот, чтобы всем было видно, как Сан-Витторе отвечает за кровь.

Дом Белланди последние дни жил в особенной тишине. Синьор Орландо чаще запирался в кабинете. К нему приходили люди из совета, капитан южных ворот, два монаха из обители святого Луки и один сухой, узколицый нотариус, который всегда снимал перчатки перед тем, как взять чашу с вином, будто боялся испачкать кожу чужими тайнами. Синьора Изабетта велела натирать полы, проветривать верхние комнаты и заново перестилать постель в покоях для почётных гостей, хотя гостей туда не помещали уже много месяцев. На вопрос старшей служанки, зачем столько чистого белья, хозяйка ответила так холодно, что никто больше не спрашивал.

Когда колокола ударили в третий раз, в бельевую вбежала Джемма, кухонная девчонка с красными руками и вечной мукой на щеке. Она была младше Аньезе на два года, но шумела за троих взрослых, и обычно её ругали ещё до того, как она успевала открыть рот.

— Его привезли! — выдохнула Джемма, хватаясь за дверной косяк. — У южных ворот видели повозку, стражу и людей совета. Говорят, он весь в крови, но сидит прямо, как князь. Говорят, одного стражника укусил за руку.

— Люди всегда говорят лишнее, когда им страшно, — отозвалась Аньезе, не переставая считать полотенца.

— А тебе не страшно? — спросила Джемма, округлив глаза. — Это же Валькастро. Мясник из Санта-Марты. У него герб кровью рисуют, сама видела. На площади продавали.

Аньезе сложила последнее полотенце, выровняла стопку ладонью и только тогда посмотрела на девчонку. Ей было страшно, но не так, как Джемме. Страх Аньезе редко поднимался к горлу шумной волной. Он оседал ниже, под рёбрами, и становился тяжёлым, удобным для носки, как ведро с водой, которое нельзя поставить до самого верха лестницы.

— Мне страшно, когда госпожа зовёт меня по полному имени, — сказала она ровно. — А людей с гербами я видела только издали.

Джемма фыркнула бы, если бы в этот момент в дверях не появилась старая Марта, ключница. Марта служила Белланди дольше, чем Аньезе жила на свете, и за эти годы её лицо стало похоже на высушенное яблоко, а голос — на скрип сундука, который всё ещё исправно запирается.

— Аньезе, — сказала Марта, оглядев бельевую так, будто каждая складка на полотенце могла быть личным оскорблением. — Госпожа велит тебе идти наверх. Немедля.

Джемма замолчала. Даже мука на её щеке будто побледнела. Аньезе почувствовала, как страх под рёбрами стал чуть тяжелее, но спросила спокойно:

— К госпоже в покои?

— К госпоже сперва, — ответила Марта и сделала ударение на последнем слове. — Потом куда велит.

В доме уже знали. Слуги всегда знают раньше, чем господа успевают приказать молчать. На лестнице Аньезе встретила двух младших служанок, которые несли кувшины и тут же отвернулись, будто её уже коснулось что-то заразное. В коридоре у семейной капеллы стоял управляющий Бартоло и шептался с одним из стражников, которого она раньше видела у ворот ратуши. Стражник был в пыльном плаще, под ногтями у него чернела земля, а на поясе висел меч, недавно вытертый, но всё ещё пахнувший железом. Когда Аньезе проходила мимо, он посмотрел на неё быстро и оценивающе, как смотрят на вещь, которой предстоит пользоваться не по обычному назначению.

Синьора Изабетта ждала её в малой гостиной, где всегда было слишком чисто и слишком холодно. Окна выходили во внутренний двор, на лимонные деревца в кадках, и утренний свет ложился на пол правильными прямоугольниками. Хозяйка сидела у стола, не касаясь чаши с травяным отваром. На ней было тёмное платье с высоким воротом, волосы убраны под кружевную вуаль, пальцы сжаты так крепко, что костяшки побелели. Рядом стоял синьор Орlando Белланди, и от его обычной благочестивой мягкости не осталось почти ничего. В доме он редко повышал голос, но в тот день молчал так, что даже молчание казалось приказом.

— Подойди, Аньезе, — сказала синьора Изабетта.

Аньезе подошла и присела в лёгком поклоне.

— Ты знаешь, кого сегодня привезли в наш дом? — спросил синьор Орlando.

— Слышала только слухи, синьор, — ответила Аньезе.

— Слухи в Сан-Витторе размножаются быстрее крыс, — сказал хозяин с тонкой усмешкой. — Но в этот раз они близки к истине. В верхнюю западную комнату помещён Асканио

ди Валькастро. До решения совета он будет находиться здесь под охраной. Это не честь для нашего дома, а обязанность перед городом.

Аньезе знала верхнюю западную комнату. Её называли комнатой для дальних гостей, хотя последние годы там жили только закрытые сундуки, старые ковры и пыль, которую Марта ненавидела как личного врага. Комната была удобна для тюрьмы: одно окно выходило на высокий глухой переулок, дверь была крепкая, а рядом находилась маленькая кладовая, где можно было держать стражу.

— Ему нужен уход, — продолжил синьор Орландо. — Рана на боку, жар, возможно, перелом ребра. Городской лекарь осмотрел его у ворот, но оставаться при нём не станет. Совет не желает лишних языков. Ты будешь носить воду, чистое бельё и еду. Если потребуется, подашь повязки. Марта покажет, что брать.

Синьора Изабетта наконец подняла глаза на Аньезе, и в них было что-то сложнее страха. Может быть, отвращение. Может быть, усталость. Может быть, зависть к тем, кто мог не знать подробностей.

— Ты не будешь говорить с ним без нужды, — сказала хозяйка. — Если он обратится к тебе, отвечай коротко. Если станет бредить, запоминай слова. Если назовёт имена, передашь синьору Белланди. Если попросит передать письмо, воду, нож, молитвенник, нитку, булавку, что угодно сверх положенного — откажешь и сразу скажешь страже. Ты поняла?

— Да, синьора, — ответила Аньезе.

— И ещё, — добавила хозяйка после короткой паузы. — Ты не должна смотреть на него как девочка на рыцаря из песни. Такие мужчины умеют делать из слабых людей двери. Они видят щель и входят. Ты не красива, Аньезе, и это сейчас милость Божья. Ему нечем будет играть с твоим тщеславием, если ты сама не принесёшь его в руках.

Слова были сказаны почти заботливо, но Аньезе всё равно почувствовала, будто ей провели по щеке холодным ножом. Она давно привыкла к тому, что её внешность считают удобной частью службы, но никогда ещё это удобство не называли милостью Божьей так прямо. Синьор Орландо посмотрел на жену с лёгким раздражением, словно та сказала лишнее, но спорить не стал.

— Моя жена говорит резко, — произнёс он, — но верно. Ди Валькастро опасен не только мечом. У него были люди, деньги, женщины, священники, предатели и друзья среди тех, кто вчера ещё называл себя нашими союзниками. Теперь у него остались цепи и язык. Цепи держит стража. За языком будешь следить ты.

Аньезе поклонилась ещё раз. В этот миг ей очень хотелось спросить, почему за языком такого человека должна следить именно она, служанка с неровной щекой и простым чепцом. Но ответ она уже знала. Потому что господа не считали её женщиной в том смысле, в каком боялись женщин. Не считали достаточно умной, чтобы понять опасную правду, но считали достаточно грамотной, чтобы запомнить имя. Не считали человеком, чьё мнение могло что-то изменить, но считали удобным сосудом для чужих слов.

Марта отвела её в малую кладовую у лестницы, где уже стояли кувшин, миска с водой, грубые полотна, чистая сорочка, пузырёк с винным уксусом и коробка с мазью, пахнувшей смолой. Ключница проверяла каждую вещь так тщательно, будто Аньезе собиралась пронести пленнику целый арсенал под складкой передника.

— Ножей не брать, — сказала Марта. — Игл не брать. Шпилек не брать. Ленты не брать. Даже шнурок лишний не бери. Такие, как он, удавят человека собственным волосом, коли Господь даст им волос под руку.

— Ты его видела? — спросила Аньезе.

Марта перекрестилась, но не театрально, как Джемма, а сухо, коротко, почти сердито.

— Видела, как вносили, — ответила ключница. — Крови много. Лицо тёмное, глаза открытые. Не стонал. Это хуже, чем если бы стонал. Мужчина, который не стонет, когда его

несут с дороги, либо святой, либо бес, либо привык, что боль — это дело слуг. Святых с таким гербом не бывает.

— А герб ты видела? — спросила Аньезе, завязывая полотна в узел.

— У него на плаще была вышивка, — сказала Марта. — Красный щит. Чёрная полоса. Будто кто ножом провёл. Не смотри на эту вышивку долго. И на него не смотри. Сделаешь, что велено, и выйдешь.

Аньезе подняла кувшин. Вода плеснулась у края, холодная капля упала ей на запястье. Она вдруг подумала, что никто в доме не спросил, не боится ли она. Её предупредили, наставили, унизили для пользы дела, снабдили полотном и уксусом, но страха как будто не полагалось учитывать. У служанки страх был частью жалованья.

По главной лестнице ей идти не позволили. Марта повела её боковым ходом, мимо комнаты для хранения свечей, вдоль узкого коридора, где каменный пол был стёрт ногами поколений слуг. Внизу ещё шумел дом, но чем выше они поднимались, тем плотнее становилась тишина. У поворота перед западным крылом стоял первый стражник. Он был молод, светловолос, с лицом, на котором недавно закончилась юность и ещё не успела начаться настоящая жестокость. При виде Марты он отступил, но на Аньезе посмотрел с жалостью.

— Эту посылают? — спросил он.

— Не твоё дело, Паоло, — отрезала Марта.

Имя стражника Аньезе запомнила сразу. Она всегда запоминала имена тех, кто стоял у дверей.

У самой западной комнаты было двое. Один сидел на табурете, другой стоял у двери, держа руку на рукояти меча. На полу валялась солома, принесённая для стражи, но никто не садился близко к порогу. Дверь комнаты была заперта на два замка. Верхний — хозяйский, знакомый Аньезе по звуку; нижний — новый, тяжёлый, городской, принесённый, вероятно, из ратуши. У косяка темнело пятно, которое кто-то пытался замывать и не успел. Кровь на камне всегда оставалась чуть упрямее воды.

Стражник у двери был старше Паоло. У него был разбитый нос, седина в щетине и такие глаза, какими смотрят люди, видевшие, как быстро из человека выходит тепло. Он смерил Аньезе взглядом, скользнул по кувшину, по узлу с бельём, по пустым рукам, потом усмехнулся.

— Вот значит, кого выбрали, — сказал он. — Тихую птичку.

— Открывай, Томмазо, — приказала Марта.

Стражник не сразу взялся за ключ. Он наклонился к Аньезе чуть ближе, и от него пахло кожей, потом и дешёвым вином.

— Не смотри ему в глаза, девка, — шепнул Томмазо. — Он и в цепях людей губит. Сначала попросит воды, потом имени, потом жалости. А после жалости у таких всегда идёт кровь.

— Она идёт туда с кувшином, не с исповедью, — сказала Марта, но голос её стал суше обычного.

Томмазо открыл нижний замок. Марта — верхний. Железо щёлкнуло громко, и Аньезе впервые за весь день по-настоящему захотелось поставить кувшин на пол и сказать, что она не лекарь, не стражник, не соглядатай, не человек совета и не Господь, чтобы входить к чужому греху с водой в руках. Но вместо этого она крепче взяла узел с бельём и шагнула за порог.

В комнате пахло кровью, уксусом, пылью и закрытым окном. Шторы сняли, ковры свернули и убрали к стене, сундуки вынесли, оставив только широкую кровать, тяжёлый стул, стол, таз и канделябр с двумя свечами. Окно было заперто изнутри железной полосой, ставни распахнуты, но вместо воздуха в комнату входил только тусклый свет переулка. На стене, где раньше висел гобелен, остался прямоугольник чистой штукатурки, слишком светлый на фоне остальной стены. У кровати стоял третий стражник, с арбалетом, и смотрел не на Аньезе, а на человека под серым одеялом.

Асканио ди Валькастро лежал не как больной. Даже в жару, даже с лицом, потемневшим от усталости и дорожной пыли, даже с повязкой на боку и цепью, уходившей от его запястья к кольцу в стене, он казался не помещённым в комнату, а временно остановленным в ней. Аньезе сперва увидела не лицо, а руку: большую, смуглую, с разбитыми костяшками, лежавшую поверх одеяла. На безымянном пальце не было перстня, но кожа вокруг него сохранила светлый след. У таких людей даже отсутствие печати выглядело как знак власти.

Лицо у него было резкое, неправильное, слишком живое для человека в полубреду. Чёрные волосы спутались на висках, короткая борода отросла неровно, на скуле запеклась ссадина. Губы пересохли. Он дышал неглубоко, иногда морщась так, будто тело пыталось напомнить ему о боли, а он упрямо не желал отвечать. На стуле у кровати лежал его плащ, разрезанный и испорченный дорогой. Аньезе невольно посмотрела на вышивку у края: красный щит, тёмная полоса, тонкая золотая кайма. Герб был красивый. Это показалось ей почти неприличным. Люди на площади плевали в него, а вышивальщик, когда-то делавший эти стежки, наверняка работал при хорошем свете и думал о ровности линий, не о крови.

— Быстро, — сказал стражник с арбалетом. — Поставь воду, заberi грязное, выйди.

Аньезе поставила кувшин на стол, развернула узел и подошла ближе к кровати. Под одеялом темнела старая повязка, пропитанная в одном месте бурым пятном. Лекарь, видимо, уже сделал всё, что считал нужным, но сделал это наскоро. Край бинта скрутился, ткань давила на рану. Если так оставить, к вечеру жар станет хуже. Аньезе не была лекаркой, но отца в последние недели его болезни перевязывала сама и знала, что грязная повязка убивает тише ножа.

— Нужно сменить полотно, — сказала она стражнику.

— Тебя просили лечить? — спросил тот.

— Мне дали чистое бельё и уксус, — ответила Аньезе. — Значит, кто-то думал, что грязное само не уйдёт.

Стражник нахмурился, но спорить не стал. Ему, вероятно, было всё равно, умрёт пленник сегодня или через неделю, лишь бы не в его смену и не с обвинением в небрежности. Аньезе смочила полотно водой, добавила немного уксуса и наклонилась над кроватью. Вблизи жар от тела Асканио чувствовался почти как от печи. Она старалась не смотреть ему в глаза, как велел Томмазо, но глаза у пленника были закрыты, и от этого запрет казался смешным. Губы его шевельнулись. Сначала она решила, что это просто бред, бессмысленное движение рта, но потом различила слово.

— Поздно, — прошептал он по-итальянски, с лёгкой хрипотцой и северной твёрдостью в звуках. — Поздно пришёл.

Аньезе замерла на мгновение, держа мокрое полотно над краем повязки. Стражник у окна тоже повернул голову.

— Что он сказал? — спросил он.

— Бредит, — ответила Аньезе.

Она осторожно отогнула ткань. Рана была не такая страшная, как она боялась, но плохая: длинный рассечённый след на боку, воспалённый по краям, с тёмными пятнами вокруг. Человека, видимо, везли долго и грубо. Она промыла кожу вокруг, стараясь не задеть саму рану слишком резко. Асканио дёрнулся, цепь коротко звякнула, но не проснулся. Потом его рука вдруг сомкнулась на её запястье.

Стражник вскинул арбалет.

— Назад! — рявкнул он.

Аньезе не вскрикнула. Не потому, что была храброй, а потому что страх иногда задерживает голос лучше любой выдержки. Пальцы пленника были горячие и сильные, хотя сам он едва держался в сознании. Он открыл глаза.

Томмазо ошибся, подумала Аньезе в ту же секунду. Глаза не губили. Губили не они. Губило то, что в них не было просьбы. Не было обычного больного испуга, не было мутной

покорности, какую она видела у людей в горячке. Взгляд Асканио был тёмный, тяжёлый, недоверчивый. Так мог смотреть человек, который проснулся не от боли, а от опасности и ещё не решил, кого первым убить, если ему дадут возможность.

— Где он? — спросил Асканио.

Голос был едва слышен, но в нём осталась привычка приказа. Аньезе попыталась высвободить руку.

— Синьор, я принесла воду, — сказала она осторожно. — Вам нужно отпустить меня.

Он, кажется, не понял её слов или понял не сразу. Взгляд скользнул по её лицу, по чепцу, по простому платью, по мокрому полотну. Потом он сильнее сжал пальцы.

— Где Джулиано? — спросил Асканио. — Джулиано Альбани. Он успел войти в город?

Стражник с арбалетом тихо выругался. Аньезе почувствовала, как воздух в комнате изменился. Имя ударило не громко, но точно. Она знала его. Последние три недели в Сан-Витторе это имя повторяли вместе с молитвами за убитых посольских людей. Джулиано Альбани, секретарь луккского посольства, должен был привезти в город письма о союзе и погиб в Санта-Марте, зарубленный людьми Валькастро. Так говорили на площади. Так говорил городской глашатай. Так плакала его сестра у кафедральных ступеней. Так было записано в листках, где красный герб печатали грубо, с потёками, похожими на кровь.

Асканио ди Валькастро смотрел на неё так, будто этот мёртвый человек мог всё ещё идти по дороге к городским воротам.

— Синьор Альбани мёртв, — сказала Аньезе прежде, чем успела подумать, имеет ли право отвечать. — Говорят, он погиб в Санта-Марте.

Пальцы на её запястье ослабли не сразу. Лицо пленника осталось неподвижным, но что-то в нём потемнело глубже жара, глубже боли. Это не было удивлением. Скорее подтверждением страшного расчёта, который он до последнего не хотел считать верным.

— Нет, — сказал Асканио почти беззвучно. — Три недели назад он был жив.

Стражник шагнул к кровати.

— Хватит, — резко произнёс он. — Девка, отойди.

Но Асканио всё ещё смотрел на Аньезе. Теперь в его глазах не было ни бреда, ни просьбы, ни угрозы. Только ясность, от которой ей стало холодно.

— Если они сказали, что я убил Джулиано Альбани, — произнёс он медленно, будто каждое слово приходилось вытаскивать из раны, — значит, они уже открыли первую дверь.

Аньезе не поняла, о какой двери он говорит. Она успела только увидеть, как стражник побледнел, хотя арбалет всё ещё был направлен на пленника. Потом дверь за её спиной распахнулась, и на пороге появился синьор Орландо Белланди.

Хозяин смотрел не на рану, не на воду, не на мокрое полотно в руках служанки. Он смотрел на Асканио, но спросил у Аньезе:

— Что он сказал?

Аньезе опустила глаза, как её учили, и впервые за три года службы в доме Белланди поняла, что тишина тоже бывает ложью.

Но прежде чем она успела выбрать, какой именно ложью ей сейчас спастись, пленник закрыл глаза и назвал ещё одно имя:

— Белланди.

В комнате стало так тихо, что за окном, далеко внизу, слышался крик торговца рыбой.

Глава 2. Пленник в верхней комнате

Синьор Орландо Белланди умел молчать так, что люди начинали оправдываться ещё до обвинения. В верхней западной комнате он не повысил голоса, не приказал стражникам схватить пленника за горло, не бросился к Аньезе с вопросами, как сделал бы человек менее опытный и менее опасный. Он просто стоял у порога, положив ладонь на набалдашник трости, хотя в доме никогда не нуждался в трости, и смотрел на Асканио ди Валькастро с тем выражением благоразумной скорби, с каким обычно выслушивал рассказы должников о больных детях и погибшем урожае.

Аньезе стояла рядом с кроватью, держа мокрое полотно. Запястье всё ещё горело от пальцев пленника, хотя он уже отпустил её. На коже осталось красное кольцо, и она машинально прикрыла руку краем передника, сама не понимая, от кого хочет это скрыть: от хозяина, от стражи или от себя. Асканио снова лежал с закрытыми глазами, но теперь никто в комнате не верил, что он без сознания. Даже его неподвижность стала частью разговора, в котором каждое слово могло оказаться ножом.

— Что он сказал? — повторил синьор Белланди.

Стражник с арбалетом ответил быстрее, чем Аньезе успела раскрыть рот.

— Бредил, синьор. Называл покойного Альбани. Потом... ваше имя.

Белланди медленно перевёл взгляд на стражника. Это был не гнев, а почти жалость к человеку, который сказал слишком много и слишком прямо. Стражник понял это с опозданием и сглотнул, но сказанного уже нельзя было вернуть, как нельзя засунуть кровь обратно в рану.

— Покойного Альбани весь город называет третью неделю, — произнёс хозяин. — Неудивительно, что убийца слышит имя убитого в жару.

Аньезе опустила глаза. Слова были разумные, гладкие, удобные. Если бы она услышала их внизу, в кухонном шуме, возможно, они показались бы ей достаточными. Но наверху, среди запаха уксуса, железа и пота, они легли на воздух слишком ровно. Человек, которого считают убийцей, мог бредить именем своей жертвы. Мог. Только Асканио не сказал «прости» или «кровь» или «убил». Он спросил: успел ли Джулиано войти в город. А потом сказал, что три недели назад тот был жив.

— Аньезе, — обратился к ней Белланди мягко. — Ты слышала что-нибудь, достойное памяти?

Вот так в доме Белланди задавали самые опасные вопросы: будто речь шла о забытом платке или лишней свече. Аньезе почувствовала на себе взгляд Марты, стоявшей в коридоре за спиной хозяина, и взгляд стражника с арбалетом, и, хуже всего, тяжёлое безмолвное внимание пленника, который, не открывая глаз, словно слушал даже её дыхание.

— Он говорил в жару, синьор, — ответила она. — Слова были спутанные.

— И всё же ты умеешь запоминать, — сказал Белланди. — За это тебя и ценят.

Она могла повторить всё. Имя Джулиано Альбани. Вопрос о том, вошёл ли тот в город. Фразу о первой двери. Имя Белланди, произнесённое не как бред, а как последнее звено в цепи. Но она вдруг ясно поняла, что если произнесёт это сейчас, то сама станет частью этой цепи, и её место в ней окажется самым слабым. Синьор Орландо спрашивал не для того, чтобы узнать правду. Он проверял, сколько правды уже попало в неё, как проверяют, сколько яда могло пролиться из разбитого пузырька на чистую скатерть.

— Он назвал синьора Альбани, — сказала Аньезе. — Потом ваше имя, синьор. Больше я не поняла.

Это была почти правда, а потому солгать её голосу было легче. Белланди смотрел на неё ещё несколько мгновений, и эти мгновения тянулись дольше, чем вся лестница наверх. Потом он кивнул, будто остался доволен.

— Хорошо. Если услышишь что-то ещё, сразу скажешь мне. Не стражникам, не Марте, не госпоже. Мне.

— Да, синьор, — ответила Аньезе.

— Повязку смени, раз начала. Пленный должен дожить до решения совета. Сан-Витторе не убивает без суда, даже когда суд уже знает имя виновного.

Сказав это, Белланди шагнул к кровати. Асканио открыл глаза. Между двумя мужчинами оказалось всего несколько шагов, но Аньезе почувствовала, что комната стала теснее, будто стены придвинулись к ним со всех сторон. Хозяин дома был богат, уважаем, окружён законом, слугами и стражей. Пленный лежал на чужой постели, в грязной рубаше, с раной под рёбрами и цепью на руке. И всё же в их взглядах не было простого превосходства одного над другим. Они смотрели так, как смотрят люди, уже встречавшиеся раньше у какой-то невидимой черты.

— Ди Валькастро, — произнёс Белланди, — совет желает сохранить вам жизнь до суда. Не облегчайте работу тем, кто считает это излишним милосердием.

— Милосердие в вашем доме? — спросил Асканио хрипло. — Любопытно. Дорого берёте?

Томмазо у двери дёрнулся, но Белланди лишь чуть улыбнулся.

— Для человека в вашем положении остроумие — бедная монета.

— У меня забрали перстень, коня, плащ, сапоги, людей и право умереть с мечом, — сказал Асканио. — Оставили язык. Не жалуйтесь, если я им пользуюсь.

— Пока можете, — спокойно ответил Белланди.

Это «пока» не прозвучало угрозой. Оно было сказано почти устало, как напоминание о погоде, которая всё равно переменится. Белланди повернулся к Аньезе.

— Закончишь и выйдешь. Сегодня к нему больше никто из слуг не войдёт без моего приказа.

Он ушёл. Дверь за ним закрыли, но воздух в комнате не стал легче. Аньезе вдруг поняла, что всё ещё держит мокрое полотно, уже согревшееся в её ладони. Стражник с арбалетом стоял настороженно, но смотрел теперь больше на дверь, чем на пленника, будто присутствие хозяина оставило после себя приказ бояться в правильную сторону.

— Продолжай, — сказал стражник. — И без разговоров.

Аньезе наклонилась к ране. Её руки не дрожали; это удивило её саму. Возможно, потому, что дрожь была бы роскошью. Сначала нужно было смочить присохший край бинта, чтобы не открыть кровь снова. Потом осторожно снять грязную ткань. Потом промыть кожу вокруг. Она работала медленно, чувствуя, как пленник следит за ней, хотя иногда закрывает глаза. Он не стонал и не благодарил. Только один раз, когда она слишком резко потянула узел, его дыхание оборвалось, и пальцы свободной руки сжались на одеяле.

— Больно? — спросила Аньезе тихо, прежде чем успела вспомнить, что говорить без нужды не велено.

— Нет, — ответил он.

Она посмотрела на белые костяшки его пальцев и промолчала. Некоторые мужчины лгали о боли так же упорно, как купцы — о прибыли. В этом не было ни мужества, ни глупости; просто ещё одна привычка власти. Если признать боль, придётся признать тело. Если признать тело, придётся признать, что цепь, рана и жар сильнее имени.

— Вы умрёте быстрее, если грязь останется под повязкой, — сказала Аньезе, делая вид, будто разговаривает не с ним, а с краем полотна. — Синьор Белланди велел вам дожить до суда.

— Как трогательно, — отозвался Асканио. — Его забота согревает лучше одеяла.

— Одеяло тоже грязное, синьор.

Стражник хмыкнул, но быстро сделал вид, что кашляет. Асканио повернул голову, и Аньезе впервые увидела в его взгляде не только тьму и боль, но и короткую искру интереса.

— Ты всегда отвечаешь так тем, кого велено бояться?

— Я отвечаю, когда нужно перевязать рану, — сказала Аньезе. — Страх мешает пальцам.

— А тебе не мешает?

— Мешает. Но не больше, чем ваша рука.

Он посмотрел на её запястье. Красный след всё ещё был виден. Аньезе пожалела, что не опустила рукав ниже. Асканио, кажется, тоже заметил это сожаление и слегка усмехнулся.

— Значит, тебя прислали не потому, что ты бесстрашная.

— Меня прислали потому, что я служу в этом доме.

— Нет, — сказал он. — Тебя прислали потому, что ты умеешь слушать и достаточно незаметна, чтобы люди рядом с тобой забывали закрывать рот. Это полезное свойство. У некоторых шпионов на него уходят годы.

Стражник резко произнёс:

— Сказано было — без разговоров.

— Я разговариваю с повязкой, — ответил Асканио, не глядя на него. — Она умнее большинства людей в этой комнате, но, увы, менее красива.

Аньезе продолжила перевязку. Лесть была такой очевидно насмешливой, что даже не задевала. Если бы он хотел польстить ей всерьёз, было бы хуже. Но он не пытался понравиться. Он шупал стены, как заключённый, оставшийся без ножа, проверяет камень на трещины. Слова были его пальцами.

— Сколько тебе заплатили за мои слова? — спросил он через минуту.

— Мне платят за месяц службы, синьор.

— Значит, недорого. За слова, которые могут стоить человеку головы, надо брать отдельно.

— Мне не предлагали выбирать цену.

— Всем предлагают. Только бедным часто делают это так, что выбор похож на приказ.

Кто научил тебя читать?

Аньезе подняла глаза. Вопрос был задан слишком быстро после предыдущего, и от этого стал опаснее. Он уже понял. Может быть, по тому, как она отреагировала на имя Альбани. Может быть, по тому, как посмотрела на герб. Может быть, грамотность оставляла на человеке след, как ремесло оставляет мозоли.

— Мой отец, — ответила она.

— Писарь?

Она молчала чуть дольше, чем следовало. Асканио усмехнулся.

— Писарь. Обедневший, если дочь в служанках. Мёртвый, если дочь всё ещё здесь и никто не выкупил её в приличный брак. Давно?

Стражник с арбалетом снова вмешался:

— Закрой рот, Валькастро.

— Ты мешаешь лекарю, — сказал Асканио.

— Она не лекарь.

— Тем хуже для меня.

Аньезе завязала чистую повязку. Узел должен был быть крепким, но не давящим; она проверила пальцами край ткани и отстранилась.

— Мой отец умер три года назад, — сказала она ровно. — И если вы хотите сделать из этого крючок, синьор, выбирайте тоньше. Этот слишком заметен.

На этот раз Асканио не усмехнулся. Он смотрел на неё внимательно, без прежнего презрения, и от этого стало не легче, а труднее. Презрение господина — привычная тяжесть. Внимание опасного человека — неизвестная.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Это не нужно для повязки.

— Зато нужно для памяти.

— Вам велели дожить до суда, а не собирать имена служанок.

— Именно до суда имена и нужны.

В этих словах было что-то такое, что снова заставило её вспомнить Джулиано Альбани, первую дверь и имя Белланди. Аньезе взяла грязные полотна и сложила их в отдельную миску. На одном куске ткани пятно было свежее, алое по краям. На другом — старое, почти чёрное. Она нахмурилась.

— Кто входил к вам после лекаря? — спросила она.

Стражник насторожился.

— Что?

Аньезе подняла грязный бинт. Руки у неё оставались спокойными, голос тоже.

— Утром повязку накладывали иначе. Видите, здесь узел был сбоку, как делает городской лекарь Джованни, чтобы больной не лежал на нём. А этот край затянут сверху и грубее. Его меняли позже. Ночью или перед тем, как меня позвали. Кто входил?

Стражник подошёл ближе, выхватил у неё ткань, посмотрел так, будто бинт мог сам обвинить его в измене, и бросил обратно.

— Лекарь поправлял, — сказал он.

— Лекарь не завязывает так, — ответила Аньезе.

— А ты много знаешь о лекарях?

— Достаточно, чтобы не путать руку человека, который лечит, с рукой человека, который торопится скрыть кровь.

В комнате стало тихо. Асканио приподнял голову, но тут же поморщился и опустил обратно. Глаза его теперь были совсем ясными.

— Интересно, — сказал он. — Очень интересно.

Стражник схватил Аньезе за плечо и развернул к двери.

— Закончила. Вон.

Она не сопротивлялась. Сопротивление в таких руках быстро становилось синяком, а синяк — вопросом, на который служанке всё равно пришлось бы отвечать самой. Она взяла миску с грязной водой, узел с испорченными полотнами и кувшин, теперь почти пустой. У порога Асканио произнёс ей вслед:

— Они выбрали тебя не из жалости.

Аньезе не обернулась.

— Конечно, нет, синьор. Жалость в этом доме выдают по воскресеньям.

Дверь закрылась прежде, чем он успел ответить. Но когда замки щёлкнули, Аньезе вдруг поняла, что сказала лишнее. Не пленнику. Себе.

Внизу дом встретил её обычным порядком, и от этого порядок показался хуже крика. В кухне чистили рыбу для обеда, в прачечной кипятили бельё, у задних ворот спорил поставщик яиц, в малой гостиной синьора Изабелла выбирала скатерть для вечерних гостей. Всё двигалось как всегда, будто наверху не лежал человек, чьё имя могло развязать войну, и не сохла на камне кровь, которую кто-то пытался отмыть до её прихода. Аньезе отнесла грязные полотна в отдельный таз, как велела Марта, но один край бинта задержала между пальцами чуть дольше. Там, где ткань была затянута грубой рукой, остался след тёмного порошка. Не грязь с дороги. Что-то похожее на растёртый уголь или копоть.

— Не стой над тряпками, как над покойником, — сказала Марта за её спиной. — В прачечную их. И смотри, чтобы девчонки не болтали.

— Марта, — осторожно спросила Аньезе, — лекарь Джованни сегодня поднимался к пленнику после того, как его внесли?

Ключница прищурилась.

— А тебе зачем?

— Повязка была сменена дважды.

— Сказано же — лекарь.

— Ты его видела?

Марта отвела взгляд к полкам с простынями. Для чужого человека это движение ничего бы не значило, но Аньезе слишком долго служила рядом с ней. Марта могла ругаться, могла ворчать, могла обвинять весь мир в пыли и безнравственности, но когда говорила правду, смотрела прямо.

— Я видела, как лекарь выходил из дома до третьего удара колокола, — сказала она наконец. — После того наверх поднимались только стража и синьор Орландо.

— Один?

— Девочка, — произнесла Марта тихо, и в этом обращении не было обычной сухости, — когда дом велит тебе не видеть, лучше не спорить с домом глазами. Глаза у служанок дешёвые, но выколоть их могут дорого.

Аньезе поняла, что ответа больше не будет. Она отнесла полотно в прачечную, вылила воду, вымыла руки уксусом и долго тёрла запястье там, где остался след от пальцев Асканио. След не исчезал. Наоборот, чем сильнее она тёрла, тем заметнее становилась краснота.

Синьора Изабетта вызвала её перед полуднем. Хозяйка сидела в своих покоях у окна, вышивальная рама стояла рядом, но игла лежала без дела. На столике был раскрыт молитвенник Лауры. Аньезе узнала его по голубой ленте-закладке, хотя раньше видела только мельком, когда убирала пыль. Госпожа быстро закрыла книгу, будто служанка вошла слишком рано.

— Он говорил с тобой? — спросила синьора Изабетта.

— В жару, синьора.

— Не повторяй мне то, что уже сказала мужу. Я спрашиваю другое. Он говорил с тобой как мужчина с девушкой?

Аньезе на мгновение не поняла, а когда поняла, ей стало неприятно не от самого вопроса, а от того, как легко хозяйка поставила его рядом с именами мёртвых людей и угрозой городу. В доме Белланди любая опасность для женщины сводилась к одному месту, будто у неё не могло быть ушей, памяти, совести или страха, а только тело, которое кто-то запятнает.

— Он говорил со мной как больной человек со служанкой, которая меняла повязку, — ответила Аньезе.

— Больные мужчины иногда опаснее здоровых, — сказала госпожа. — Особенно такие. Они лежат, смотрят снизу вверх, просят воды, благодарят за милость, а женщина начинает думать, что увидела в них душу. Душа у таких людей обычно лежит там же, где их меч. Если меч отобрали, они одалживают чужую жалость.

— Я не давала ему жалости, синьора.

— Потому я и выбрала тебя.

Это снова ударило, но теперь Аньезе была к нему готова. Она стояла, опустив руки, и смотрела не на хозяйку, а на край вышивальной рамы. На ткани был начат узор гранатового цветка. Красные нити лежали аккуратно, густо, почти как капли, соединённые в порядок.

— Он назвал ещё имена? — спросила синьора Изабетта.

— Нет, синьора.

— Моё?

— Нет.

Госпожа прикрыла глаза. Едва заметно, на один вдох. Если бы Аньезе смотрела в сторону, она бы пропустила это движение. Но она не пропустила. Значит, синьора боялась не только имени мужа. Она боялась своего.

— Если он скажет что-то о моей дочери, — произнесла хозяйка после паузы, — ты придёшь ко мне первой.

У Аньезе внутри что-то холодно повернулось.

— О синьорине Лауре?

— Не произноси её имя без нужды.

— Простите, синьора.

Изабетта Белланди провела пальцами по закрытому молитвеннику. На её лице на миг проступила такая усталость, что Аньезе почти стало жаль её. Почти. Но жалость в этом доме и правда выдавали по воскресеньям, а сегодня был будний день.

— Люди в жару иногда говорят имена мёртвых, — сказала госпожа. — Это ничего не значит.

— Да, синьора.

— Но если он скажет — ты придёшь ко мне. Не к мужу. Ко мне.

Так в один день Аньезе получила два одинаковых приказа, противоречащих друг другу. Синьор Орландо велел все имена нести только ему. Синьора Изабетта велела имя Лауры нести только ей. Дом, который казался снаружи единым, благочестивым и уважаемым, внутри уже трескался, и трещины шли не по стенам, а между мужем и женой, между мёртвыми и живыми, между тем, что должно быть сказано, и тем, что велено забыть.

После полудня Аньезе снова послали наверх. На этот раз с бульоном, чистой водой и лекарством от жара. Марта проверила чашу, понюхала настой, пересчитала полотна и проворчала молитву святой Агате, покровительнице женщин, которым приходится терпеть чужие ожоги. У двери западной комнаты стояли те же стражники, но теперь между ними чувствовалось напряжение. Паоло избегал взгляда Аньезе, Томмазо, напротив, смотрел слишком пристально.

— Опять ты, тихая птичка, — сказал он.

— Госпожа велела, — ответила Аньезе.

— Госпожа велит много такого, за что потом отвечает стража.

Он открыл дверь. В комнате стало чуть свежее: окно приоткрыли шире, но железная полоса всё равно делала вид на переулок похожим на картинку в клетке. Асканио сидел, приклонённый к подушкам. Кто-то помог ему подняться, и Аньезе сразу поняла, что это был не лекарь. Подушки лежали неправильно, слишком высоко, так что рана тянула бок. На столе стояла нетронутая вода. На полу под кроватью темнело несколько капель крови.

— Вам хуже, — сказала она.

— Какое глубокое наблюдение.

— Если вы будете сидеть так, к вечеру станет ещё хуже.

— Значит, к вечеру я стану ещё интереснее для ваших хозяев.

Она поставила поднос на стол и подошла к кровати, стараясь не обращать внимания на стражника, который остался внутри. Сегодня это был Паоло, молодой. Он нервничал и потому держал руку на рукояти меча так, будто меч был не оружием, а чётками.

— Нужно опустить подушку, — сказала Аньезе.

— Делай, — разрешил Паоло.

— Отвернитесь.

— Что?

— Если я буду поправлять ему повязку и рубаху, отвернитесь. Или позовите лекаря. Мне всё равно.

Паоло покраснел. Асканио тихо рассмеялся, но смех оборвался кашлем. Кашель причинил ему боль; он склонился вперёд, а цепь на руке коротко ударила по деревянному краю кровати. Аньезе поставила ладонь ему на плечо, удерживая, чтобы он не сорвал повязку, и почувствовала под пальцами жар, мышцы, напряжение. Это было не прикосновение к мужчине из песни, о которых предупреждала госпожа. Это было прикосновение к человеку, которого тело предавало вопреки гордости.

Паоло всё же отвернулся к окну. Аньезе быстро поправила подушки и осмотрела край повязки. Она была чистой, но под ней снова проступила кровь. Не много, но достаточно, чтобы

понять: кто-то тревожил рану. Может быть, допрашивали. Может быть, били там, где не видно. Может быть, просто не дали лежать спокойно. Она подняла глаза на Асканио.

— Кто приходил? — спросила она тихо.

— Ты ведёшь записи для хозяина или для себя?

— Для повязки.

— Повязка любопытна.

— Повязка знает, когда её портят чужими руками.

Он смотрел на неё долго, и на этот раз в его взгляде не было насмешки. Потом сказал так же тихо:

— Ночью приходил человек с кольцом совета и руками палача. Он задавал вопросы о Джулиано Альбани.

— Что он хотел знать?

— Успел ли Джулиано передать список.

— Какой список?

Паоло у окна повернул голову.

— Эй.

Аньезе отступила от кровати и взяла чашу с бульоном.

— Ему нужно есть, — сказала она громче. — Иначе лекарство не удержится.

Асканио принял чашу левой рукой. Правая была прикована к кольцу в стене; цепь позволяла ему дотянуться до стола, но не до двери. Он пил медленно, морщась от каждого глотка, будто даже бульон был оскорблением. Аньезе ждала, не торопя. Её работа всегда состояла из ожидания: пока госпожа выберет ленту, пока хозяин подпишет письмо, пока вода согреется, пока чужой гнев пройдёт мимо и не заденет. Но ждать рядом с Асканио было иначе. Он не заполнял тишину просьбами или жалобами. Он делал из неё оружие.

— Как тебя зовут? — спросил он снова.

— Аньезе.

Она не собиралась отвечать. Имя выскользнуло само, возможно, потому что утром он уже вытащил из неё больше, чем она хотела признать. Паоло неодобрительно кашлянул, но ничего не сказал.

— Аньезе, дочь писаря, — произнёс Асканио. — Внутренняя служанка дома Белланди. Умеет читать, считать, замечает узлы на повязках и выбирает правду кусками, как бедняки выбирают хлеб без плесени. Почему тебя ещё не выгнали?

— Потому что я не говорю вслух половину того, что замечаю.

— А вторую?

— Говорю только тем, кто может приказать мне молчать.

Он усмехнулся.

— Умно. И печально.

— Это часто одно и то же, синьор.

— Не называй меня так.

— Как?

— Синьор. В твоём голосе это звучит как тряпка на полу.

Аньезе на мгновение замерла. Её учили говорить «синьор» так, чтобы в этом слове не было ни мысли, ни чувства, только служебная гладкость. Если он услышал под ней что-то другое, значит, был внимательнее, чем следовало пленнику в жару.

— Как же вас называть? — спросила она.

— Если хочешь угодить своим хозяевам — убийцей. Если хочешь угодить страже — зверем. Если хочешь угодить мне — никак.

— Тогда пейте настой.

— Ты не спросишь, убил ли я Альбани?

— Если вы захотите солгать, вопрос вам поможет. Если захотите сказать правду, вы найдёте способ без моего вопроса.

Паоло у окна снова повернулся, теперь уже с открытым раздражением.

— Ты слишком много болтаешь для служанки.

— Да, — сказал Асканио, не отводя взгляда от Аньезе. — Вот и я думаю, почему её ещё не выгнали.

Аньезе подала ему настой. Он понюхал чашу и скривился.

— Что это?

— Горькое.

— Я заметил.

— От жара.

— Или для языка?

— Для языка у синьора Белланди другие лекарства.

Он поднял на неё глаза. Взгляд был быстрым, острым. Аньезе поняла, что сказала слишком много во второй раз за день. Нужно было уйти. Поставить чашу, забрать поднос, выйти и вернуться к белью, где вещи хотя бы не задавали вопросов. Но она увидела край повязки, снова проступившую кровь и тот самый тёмный порошок под ногтем Асканио, как будто он цеплялся ночью за что-то обугленное.

— Вам прижигали рану? — спросила она.

— Нет.

— Тогда откуда копоть?

Он посмотрел на свою руку. Под ногтем действительно чернела тонкая полоска. На мгновение его лицо стало неподвижным.

— Где ты её видишь?

— Под ногтем. И на старой повязке тоже была.

Паоло шагнул к ним.

— Хватит. Забирай поднос.

Асканио вдруг улыбнулся стражнику. Улыбка была слабой, но неприятной.

— Паоло, верно?

Молодой стражник побледнел.

— Откуда ты...

— Утром старая ключница назвала тебя у двери. Ты плохо слушаешь, зато хорошо боишься. Скажи мне, Паоло, человек, который приходил ночью, пах дымом?

— Молчи.

— Значит, пах.

— Молчи, сказал!

Паоло выхватил меч наполовину, и тут Аньезе, сама не ожидая от себя, резко поставила чашу на стол. Звук получился громким. Оба мужчины посмотрели на неё.

— Если вы заставите его дёрнуться, повязка снова откроется, — сказала она Паоло. — Синьор Белланди велел сохранить пленника живым. Мне потом сказать, что вы мешали?

Угроза была маленькая, почти смешная, но в доме Белланди маленькие угрозы действовали лучше больших. Паоло отпустил рукоять меча, отступил к окну и отвернулся. Аньезе забрала пустую чашу. Асканио тихо сказал:

— Тебя выбрали не из-за некрасивого лица.

Она почувствовала, как кровь прилила к щекам. Не от смущения, а от злости. Грубость госпожи была привычной; из его уст те же слова стали хуже, потому что он использовал их небрежно, а точно.

— А вас держат не из-за красивого герба, — ответила она.

Он не обиделся. Наоборот, его глаза почти потеплели, если такое слово вообще можно было применить к человеку, который смотрел так, будто привык оценивать расстояние до горла собеседника.

— У неё есть когти, Паоло, — сказал Асканио. — Передай внизу: клетку дали не той птичке.

Аньезе ушла, не обернувшись. За дверью Томмазо снова запер оба замка, и звук железа неожиданно успокоил её. Пока замки щёлкали, мир хотя бы признавал, что опасность наверху имеет форму. Внизу же опасность ходила в мягких туфлях, писала письма, выбирала скатерти и спрашивала, не произносил ли пленник имён.

День потянулся длинно и вязко. Аньезе пришлось вернуться к обычным обязанностям, но обычное уже не складывалось в прежний порядок. Она несла бельё в покои гостей и замечала, что две комнаты, давно пустовавшие, теперь проветривают. Она помогала Джемме разливать вино для ужина и видела, что приготовили не обычные кувшины, а лучшие, с гербом Белланди, хотя гостей официально не ждали. Она проходила мимо кабинета и слышала приглушённые голоса. Однажды дверь приоткрылась, и младший управляющий Бартоло внёс внутрь свёрнутую карту. Край пергамента развернулся на мгновение, и Аньезе увидела зубчатую линию городской стены, башни и маленькую красную отметку у южных ворот.

Она не должна была знать карты. Служанкам полагалось знать, где лежат ключи от бельевых сундуков, а не где у города слабые места. Но отец когда-то переписывал складские схемы, и маленькая Аньезе любила смотреть на линии дорог, потому что дороги казались ей способом уйти туда, где никто не знает твоего долга. Она помнила, как обозначают ворота. Помнила, как рисуют башни. И красная отметка у южной стены не была украшением.

Перед вечерней трапезой синьора Изабетта позвала её снова.

— Он спал? — спросила хозяйка.

— Нет, синьора. Пил бульон. Жар держится.

— Говорил?

— Немного.

— Имена?

— Нет, синьора.

Хозяйка долго смотрела на неё. В комнате пахло лавандой и холодным воском. На столе снова лежал молитвенник Лауры, но теперь на нём сверху были чётки, будто тяжестью бусин можно было удержать закрытой не книгу, а память.

— Ты устала, Аньезе?

Вопрос был почти ласковым, и от этого Аньезе насторожилась сильнее.

— Нет, синьора.

— Не лги хотя бы в мелочах. Усталость делает девушек глупыми. А глупость рядом с такими мужчинами быстро превращается в грех.

— Я буду осторожна.

— Осторожность не в том, чтобы не входить в комнату. Ты должна входить. Осторожность в том, чтобы выходить оттуда той же, какой вошла.

Аньезе хотела ответить, что никто не выходит тем же из комнаты, где лежит человек с чужой смертью на языке. Но вместо этого сказала:

— Да, синьора.

— Завтра совет пришлёт людей для первого допроса. Если он ночью назовёт имя моей дочери, ты разбудишь меня. Не мужа. Меня.

— Да, синьора.

— И не жалея его.

Аньезе впервые позволила себе поднять глаза прямо на хозяйку.

— Кого, синьора?

Изабетта Белланди сжала чётки так крепко, что одна бусина тихо щёлкнула.

— Никого, — сказала она. — Жалость вообще плохая привычка в доме, где много дверей.

К ночи дом изменился окончательно. Снаружи он по-прежнему казался тихим: ставни закрыты, свечи горят ровно, у ворот стоят люди Белланди, на кухне убирают после ужина. Но под этой тишиной ходило что-то тяжёлое. Слуги говорили шёпотом. Джемма, обычно болтливая, плакала у бочки с водой, потому что повар ударил её за пересоленный суп, хотя суп был не пересолен. Марта трижды проверяла замки и ворчала молитвы чаще обычного. Во внутреннем дворе долго стояла карета без герба, и её лошади были укрыты тёмными попонами, чтобы издалека не различить масть.

После полуночи Аньезе отправили отнести в западное крыло свежую воду. На самом деле пленнику она уже не требовалась до утра; кувшин у него был почти полон. Но приказ пришёл от синьора Белланди, и Марта только молча сунула Аньезе в руки чистую чашу, не спросив ничего. У двери стоял Томмазо. Паоло не было. На вопрос, сменили ли стражу, Томмазо ответил взглядом, который означал, что служанке полезнее не знать расписаний людей с мечами.

В комнате Асканио не спал. Он лежал тихо, с открытыми глазами, и смотрел в темноту над собой. Свечу оставили одну, далеко на столе. В таком свете лицо его казалось не живым, а вырезанным из старого дерева, по которому прошли огонь и нож. Когда Аньезе поставила воду, он не повернул головы.

— Кто приходил? — спросил он.

— Я.

— До тебя.

Она бросила взгляд на дверь. Томмазо остался снаружи, но замок не закрыли; значит, он мог слышать. Аньезе взяла пустую чашу, хотя она была не пуста, и подошла к столу спиной к двери, будто просто переставляет вещи.

— Я не знаю.

— Знаешь.

— Не видела.

— Тогда слышала.

Аньезе вытерла край стола полотном. На дереве под подсвечником осталась маленькая чёрная полоска, как от сажи. Она провела по ней пальцем и почувствовала сухую копоть.

— Человек с дымом, — сказала она едва слышно.

Асканио закрыл глаза. На его лице не было удивления. Только усталое подтверждение.

— Значит, они нашли печь.

— Какую печь?

— Ту, где сжигают имена до того, как они станут приговорами.

— Вы всегда говорите так, чтобы вас нельзя было понять?

— Нет. Иногда я отдаю приказы. Их понимают быстро.

Она посмотрела на него. В полумраке он казался меньше похожим на раненого и больше на человека, который держит в голове карту, пока другие держат ключи. Цепь на его руке поблёскивала. Один конец в стене, другой на запястье. Прямое, честное железо. Аньезе вдруг подумала, что цепь почти невинна по сравнению с тем, что связывало людей внизу.

— Почему вы называли имя моего хозяина? — спросила она.

Асканио наконец повернул голову.

— Твоего?

— Я служу в его доме.

— Дом, где человек спит, не всегда его дом. Иногда это просто место, где его заперли без цепи.

Она промолчала. Такие слова были опасны именно потому, что легко ложились на правду. Аньезе не любила, когда чужая фраза слишком быстро находила в ней место.

— Почему? — повторила она.

— Потому что Джулиано Альбани ехал в Сан-Витторе с письмом для совета. В письме были имена людей, которые продавали город. Если он мёртв, письмо исчезло. Если меня обвиняют в его смерти, значит, кто-то очень хотел, чтобы я молчал. Если меня держат не в ратуше, а в доме Белланди, значит, Белланди имеет право стоять ближе к моему горлу, чем судья.

Аньезе почувствовала, как холодеют пальцы.

— Это обвинение.

— Нет. Это счёт. Обвинения произносят люди в чистых мантиях. Я пока только складываю числа.

— Почему я должна верить вам?

— Не должна.

Ответ был слишком быстрым. Не соблазн, не просьба, не попытка расположить. Он сказал это так, будто вера служанки ничего не меняла. И всё же говорил с ней. Значит, меняла.

— Тогда зачем вы говорите?

— Потому что ты видишь то, что другие считают недостойным зрения. Узлы. Копоть. Карты в руках управляющего. Страх на лице женщины, которая велит тебе не слушать мужа.

Аньезе отступила от стола.

— Вы ничего не знаете о синьоре Изабелле.

— Я знаю женщин, которые боятся мёртвых больше живых. В твоей хозяйке этот страх сидит глубоко.

— Не говорите о ней.

— Верность?

— Привычка.

Он снова усмехнулся, но уже без прежней жестокости.

— Привычки держат крепче цепей, Аньезе.

Снаружи Томмазо кашлянул. Это был знак: пора выходить. Аньезе взяла кувшин, хотя принесла его полным, и направилась к двери.

— Если вы лжёте, — сказала она, не оборачиваясь, — я всё равно узнаю.

— Если я лгу, девочка, тебе лучше узнать это раньше, чем Белланди узнает, что ты слушала.

Она вышла. Томмазо запер дверь и посмотрел на неё с подозрением.

— Долго воду ставила.

— Он плохо пьёт.

— Пусть плохо живёт, пока велено.

Аньезе прошла мимо. Ей хотелось как можно быстрее уйти из западного крыла, но шаги сами замедлились у поворота к кабинету синьора Белланди. Внизу ещё горел свет. В такое время хозяин обычно не принимал никого, кроме самых важных гостей или самых грязных дел, а грязные дела в хороших домах часто приходили одетыми как важные гости. Дверь кабинета была почти закрыта, но не до конца. Узкая полоска света лежала на полу, пересечённая тенью чьей-то ноги.

Аньезе знала, что должна пройти дальше. Служанка, задержавшаяся у кабинета после полуночи, сама становилась поводом для вопроса. Но изнутри донёсся шелест пергамента, и она увидела на столе, сквозь щель, край той самой карты с городской стеной. Красная отметка у южных ворот теперь была обведена кругом.

Голос синьора Белланди звучал негромко, но очень ясно:

— Если Валькастро доживёт до открытого суда, он назовёт не только моё имя.

Другой человек ответил тише, и Аньезе не разобрала слов. Она только услышала скрип дерева, будто кто-то опёрся ладонями о стол.

Белланди продолжил:

— Поэтому открытого суда не будет. Ни для него, ни для тех, кто успел услышать лишнее.

Аньезе стояла в темноте коридора с кувшином в руках и впервые понимала, что тишина, которой её так долго учили, может однажды стать не спасением, а приговором. В кабинете за дверью говорили о человеке наверху. И, возможно, уже о ней.

Глава 3. Кровавый герб

До рассвета Аньезе почти не спала. В комнате для служанок, узкой и холодной, где четыре девичьи постели стояли так близко, что ночью можно было услышать чужой сон, она лежала на спине и смотрела в темноту над собой. Джемма храпела тихо, прерывисто, будто боялась даже во сне шуметь громче положенного. Другая служанка, Ливия, повернулась лицом к стене и время от времени всхлипывала: её вечером отругали за разбитую чашку, но плакала она, конечно, не из-за чашки. В доме Белланди в ту ночь плакали многие вещи, только люди старались делать это беззвучно.

Аньезе держала руки поверх одеяла. Запястье, которое сжал Асканио, уже не болело, но она всё равно чувствовала там чужие пальцы, словно тело запомнило то, что разуму запрещалось хранить. Ещё сильнее в ней держался голос синьора Орlando за дверью кабинета. «Если Валькастро доживёт до открытого суда, он назовёт не только моё имя». Эта фраза не была похожа на бред, слух или случайный обрывок разговора. Она была слишком ровной. Слишком хорошо вписанной в то, что Аньезе уже видела: карту с южными воротами, ночных гостей, копоть на повязке, страх синьоры Изабеллы перед именем мёртвой дочери.

Хуже всего было то, что теперь у неё появилась правда, с которой нельзя было ничего сделать. Простая служанка могла знать, где госпожа держит ключ от сундука с кружевом, какие свечи ставят в капелле в пост, почему управляющий Бартоло переписывает складские книги дважды и кому кухарка тайно отдаёт остатки хлеба. Но знать, что хозяин дома, член городского совета, возможно, говорит об убийстве пленника и закрытом суде, — это уже было не знанием. Это было камнем, привязанным к шее. С ним нельзя было ни идти, ни остановиться, ни позвать на помощь, не утонув первой.

К утру дом снова притворился домом. Это было одно из самых страшных умений больших семей: после ночных разговоров, тайных карт, шёпота у кабинета и запертых комнат они умели просыпаться так, будто ничего не случилось. На кухне резали хлеб. У задних ворот торговались за молоко. Марта ругала младших служанок за плохо вычищенные подсвечники. Синьора Изабелла велела подать себе тёплую воду с розмарином и долго сидела у окна, будто бессонная ночь оставила след только под глазами, а не в совести. Синьор Орlando вышел к завтраку в тёмном камзоле, свежевыбритый, с перстнем на пальце и лицом человека, который всю ночь молился о городе.

Аньезе носила подносы, кувшины и салфетки, отвечала на вопросы, кланялась, принимала замечания Марты и ни разу не ошиблась. Так иногда бывает с людьми, которые слишком напуганы: они становятся безупречно точными, потому что любая неловкость кажется началом гибели. Она знала, что не должна смотреть на хозяина дольше обычного. Не должна вздрагивать, когда он произносит её имя. Не должна задерживаться у дверей, за которыми говорят мужчины. Не должна задавать Марте вопросов о ночных гостях, даже если очень хочет. В доме Белланди каждое «не должна» было ещё одной ступенькой лестницы, ведущей наверх, к комнате, где лежал человек с цепью на руке и слишком ясными глазами.

Около третьего часа после рассвета её отправили на площадь с поручением. Нужно было отнести в лавку аптекаря пустые пузырьки и забрать сушёную мальву, масло зверобоя и два свёртка порошка от жара. Марта дала ей корзину, строго пересчитала монеты и велела не задерживаться, потому что госпоже могут понадобиться свежие полотна для западной комнаты. Она не сказала «для пленника». Слово словно стало в доме грязным предметом, который каждый видел, но никто не хотел трогать голыми руками.

Сан-Витторе встретил Аньезе шумом. После тяжёлой тишины дома город казался почти непристойно живым. На площади Сан-Микеле торговцы кричали, зазывая покупателей к лоткам с рыбой, сыром, зеленью, дешёвыми лентами и глиняными чашами. У фонтана две жен-

щины спорили из-за места в очереди. Под аркадами нотариус, пристроив доску на коленях, писал прошение для старика, который не умел ни читать, ни платить достаточно, чтобы его дело взяли в канцелярии без вздохов. У ступеней церкви сидели нищие, и один из них, безногий бывший солдат, монотонно повторял: «Ради Христа, ради Христа», но люди проходили мимо так привычно, будто этот голос был частью мостовой.

И всё же обычный шум был сегодня другим. В нём было больше острых краёв. Люди говорили не о цене муки, не о плохих дорогах, не о новых налогах и не о том, чья дочь получила хорошее предложение брака. Они говорили о пленнике. Имя Валькастро переходило от лотка к лотку, от колодца к церковной стене, от мальчишеских губ к старушечьим молитвам. Его произносили с ненавистью, страхом, любопытством и тем особенным возбуждением, которое охватывает толпу, когда чужая смерть уже почти обещана, но ещё не назначен день.

Возле лавки переписчика стоял молодой печатник с доской, на которой были разложены листки. Бумага была грубая, рисунок резкий, сделанный неумелой, но выразительной рукой: красный щит, рассечённый чёрной полосой, похожей то ли на мечевой удар, то ли на потёк крови. Над гербом криво, но крупно было выведено: «ВАЛЬКАСТРО — УБИЙЦА САНТА-МАРТЫ». Ниже мелкими строками перечислялись злодеяния: сожжённая часовня, убитый посольский секретарь Джулиано Альбани, дети, пропавшие после нападения, священные сосуды, растоптанные конями наёмников. В конце было напечатано: «Сан-Витторе требует суда и крови».

Аньезе остановилась всего на мгновение, но печатник заметил её взгляд.

— Бери, девушка, — сказал он, потрясая листком. — Две мелкие монеты. Потом дороже будет, когда его повесят. Люди захотят оставить на память.

— На память о чём? — спросила Аньезе прежде, чем успела сдержаться.

Печатник удивлённо посмотрел на неё, потом усмехнулся. Для него она была просто служанкой с корзиной, не покупательницей мысли.

— О правосудии, конечно. Или о том, что даже волка можно привезти в клетке, коли город не трус.

Рядом мальчишка лет десяти купил листок, сплюнул на нарисованный герб и с хохотом показал друзьям. Один из них вытащил из-за пояса маленький нож и проколол бумажный щит посередине. Старуха, проходившая мимо, перекрестилась так быстро, будто боялась, что имя Валькастро может прилипнуть к пальцам.

— Не смейтесь, бесенята, — пробормотала она. — Кровь зовёт кровь.

— Бабка, его в доме Белланди держат! — крикнул мальчишка. — Там стены толстые. Не выйдет.

— Зло не всегда выходит ногами, — ответила старуха и пошла дальше, опираясь на палку.

Аньезе почувствовала, как холодок прошёл по спине. «В доме Белланди держат». Город уже знал. Значит, тайна была не в том, где он находится. Тайна была в том, почему его держат именно там, и что с ним хотят сделать прежде, чем толпа получит своё зрелище.

Она взяла у печатника один листок, хотя Марта не давала денег на такие покупки. Печатник принял монету и сразу потерял к ней интерес. Аньезе сложила бумагу вчетверо и спрятала под ткань в корзине, рядом с пустыми пузырьками. Рисунок успел отпечататься в памяти: красный щит, чёрная полоса, золотая кайма, слишком грубая, чтобы передать настоящую вышивку на плаще Асканио. На листке герб был не знаком рода, а кляксой ненависти. Для толпы этого хватало.

В лавке аптекаря было тесно от людей. Кто-то покупал мазь от ожогов, кто-то сушёную руту, кто-то просил средство от страха для ребёнка, который кричит по ночам после рассказов о Санта-Марте. Старый аптекарь Джованни, тот самый, что осматривал пленника у ворот, стоял за стойкой с лицом человека, которого давно перестало удивлять, что люди хотят лечить

последствия своих слухов дешевле, чем сами слухи. При виде Аньезе он нахмурился, но не потому, что не узнал её, а потому, что узнал слишком хорошо.

— От Белланди? — спросил он.

— Да, мессер Джованни. Мальва, зверобой и порошок от жара.

— От жара, значит.

Он медленно отмерил сушёные листья, потом наклонился ближе, будто поправляет завязку на свёртке.

— Ему меняли повязку ночью? — спросил он почти беззвучно.

Аньезе подняла глаза.

— Я думала, вы мне скажете.

Аптекарь задержал руку. У него были старые пальцы, жёлтые от трав, с обломанными ногтями. Такими пальцами трудно лгать красиво.

— Я перевязал его у ворот, — сказал он, уже громче, будто продолжал обычный разговор. — Потом меня не звали. Если рана воспалится, скажи Марте, что уксусом её не спасут. Нужен покой и чистота. Хотя кому я говорю? В богатых домах покой дают мёртвым, а чистоту — скатертям.

Он завязал свёрток, но не отпустил сразу.

— Девочка, — добавил он тихо, — если он бредит, не всякий бред пуст. Люди в горячке часто говорят не то, что выдумали, а то, что им велели забыть.

— Мне велели запоминать, — ответила Аньезе.

— Тогда реши заранее, кому ты принадлежишь: тем, кто велел, или тому, что запомнила.

Она не нашлась, что сказать. Аптекарь отпустил свёрток и громко назвал цену, будто весь их разговор был только торговлей. Аньезе заплатила и вышла на площадь, чувствуя, что корзина стала тяжелее. В ней лежали травы, лекарство, украдкой купленный листок с кровавым гербом и ещё одна фраза, которую нельзя было никому показать.

На обратном пути она увидела Паоло.

Молодой стражник стоял у винной лавки с двумя товарищами и говорил громче, чем требовалось человеку, который рассказывает правду. Его смена, должно быть, закончилась, и теперь он пытался отмыть страх вином и чужим вниманием. На нём всё ещё был городской плащ, но застёгнут небрежно; меч висел ниже обычного, как у человека, который хочет казаться усталым от опасности, а не испуганным ею.

— Я сам видел, говорю вам, — хвастался Паоло. — Знамя у колодца. Чёрное поле, красный разрез, будто горло раскрыли. И золото по краю. Их цвет, их работа. Только Валькастро мог так оставить знак, чтобы все знали.

Аньезе замедлила шаг, не поворачивая головы. Один из товарищей Паоло присвистнул.

— А говорят, щит красный.

— Что? — Паоло нахмурился.

— На листьях красный щит. Чёрная полоса.

— Да какая разница? — отмахнулся Паоло слишком быстро. — Кровь, тьма, дьявольщина. Я же не вышивальщик, чтобы нитки считать.

Товарищи рассмеялись. Паоло тоже рассмеялся, но смех вышел натянутым. Аньезе пошла дальше, чувствуя, как мысль в ней становится острой. «Я сам видел». Но он не помнил главного. Человек, увидевший знамя у колодца после резни, где будто бы лежали убитые, мог забыть лицо мёртвого, запах дыма, крик женщины, если слишком испугался. Но цвета герба? Когда весь город только о них и говорит? Или он видел не знамя, а слышал рассказ. Или видел другое. Или повторял чужую ложь, в которой даже лжецы путались.

У задних ворот дома Белланди её встретила Джемма. Девчонка была взволнована и снова говорила слишком быстро.

— Ты слышала? Говорят, в Санта-Марте нашли детей в колодце. Нет, не всех, троих. Или пятерых. А часовню сожгли вместе со священником. А ещё у одной женщины отрубили руку из-за кольца. И всё под его знаменем. Под тем самым. Кровавым.

— Кто говорит? — спросила Аньезе.

— Все.

— Все — это не имя.

Джемма обиделась.

— Ты после верхней комнаты стала как Марта. Только Марта старая, ей можно. А тебе-то что? Он правда такой страшный? С глазами, как угли? Говорят, он проклял стражника, и у того зуб выпал.

— У Паоло?

— Не знаю. У какого-то.

— У Паоло зубы все на месте, — сказала Аньезе и прошла внутрь.

В доме слухи были гуще, чем на площади. Слуги пересказывали их шёпотом, но так, чтобы слышали другие. Кухонные девки спорили, сколько людей убили в Санта-Марте: двенадцать, двадцать, сорок, весь приход. Старший конюх утверждал, что люди Валькастро подвешивали пленных за ноги и смеялись. Прачка Роза клялась, что её двоюродная сестра видела женщину, бежавшую из деревни, и та потеряла разум от того, что нашли в часовне. Никто не знал ничего точно, но именно поэтому каждый рассказ становился страшнее предыдущего. Правда имеет форму; ложь любит расползаться.

Аньезе отнесла аптекарские свёртки Марте. Ключница понюхала мальву, проверила пузырёк с маслом, недовольно покосилась на порошок.

— Джованни опять сэкономил на чистой бумаге, старый скряга.

— Он сказал, что уксусом рану не спасти, если не будет покоя.

— Покой, — фыркнула Марта. — Пусть попросит у совета. У нас в доме покой кончился вместе с тем, как его внесли.

Она взяла лекарства и уже собиралась уйти, но в этот момент снизу позвали её к госпоже. Марта сунула Аньезе связку грязного белья, которое принесли из верхней комнаты утром.

— В прачечную. Но сама смотри, чтобы девчонки не лезли руками. Там кровь. Не хватало ещё, чтобы они потом пищали, будто святые мученицы.

Аньезе взяла связку. Ткань была завёрнута небрежно, слишком поспешно для Марты; значит, бельё собирала не она. Внутри оказались старые полотна, сорочка пленника, испорченная у бока, и край разрезанного плаща, который, видимо, решили отдать вниз как грязную ветошь. Аньезе сразу узнала тёмную дорожную ткань и красный вышитый щит. Настоящий герб.

Она отнесла связку не в общую прачечную, а в маленькую каменную комнату рядом, где замачивали особенно грязные вещи перед кипячением. Там пахло щёлоком, мокрым льном, дымом и женской усталостью. На стене висели деревянные щипцы, у окна стояла бочка с водой. Роза, старшая прачка, была во дворе, ругалась с мальчишкой, который принёс мало дров, и Аньезе получила несколько минут одиночества.

Она развернула ткань на каменной плите. Сорочка была грубая, дорожная, с прорезью от ножа или копья, пятнами крови и лекарственным запахом. Полотна — обычные. А вот край плаща заставил её задержать дыхание.

Вышивка была прекрасной. Не такой, как на листках. Не такой, как описывал Паоло у винной лавки. Красный щит, да. Чёрная полоса, но не простая, а чуть изогнутая, будто древний меч лёг на поле. По краю шла тонкая золотая нить, местами порванная. В углу щита было маленькое серебряное острие, почти незаметное издали; на дешёвом печатном листке его не было вовсе. Аньезе провела пальцем над стежками, не касаясь крови. Это была работа военного вышивальщика или мастерской, привыкшей к плащам, знамёнам, конским попонам: плотная, крепкая, рассчитанная на грязь, дождь, седло и чужие руки.

И рядом с этим, почти прилипший к подкладке плаща, оказался другой кусок ткани.

Сначала Аньезе решила, что это часть той же одежды. Но когда осторожно отделила его, поняла: нет. Лоскут был меньше ладони, из дорогого шёлка, когда-то светлого, теперь пропитанного бурой кровью по краю. На нём тоже был вышит красный щит с чёрной полосой. Только работа была иной. Тоньше. Аккуратнее. Не для дождя и похода, а для покрыва, подушки, занавеса в частной капелле или парадной одежды. Нить лежала слишком изящно, стежки были мельче, мягче, местами почти невидимые. Такая вышивка не выжила бы на боевом знамени. Её делали не для ветра над копьями, а для глаз, которые подходят близко.

Аньезе почувствовала, как шум во дворе отдаляется.

Она знала такие стежки.

В доме Белланди в семейной капелле были покрыва для алтаря, которые вынимали только в дни поминовения Лауры. На них гранатовые цветы были вышиты той же тонкой рукой: сначала длинная направляющая нить, потом мелкие поперечные стежки, почти как чешуйки, потом едва заметный закреп на изнанке, не узлом, а петлёй, чтобы ткань лежала гладко. Госпожа говорила, что это работа из флорентийской мастерской. Марта однажды буркнула, что «наша девочка сама умела не хуже флорентийцев», и тут же замолчала, будто сказала лишнее.

Аньезе подняла лоскут к свету. Кровь затемнила край, но середина сохранила цвет. Шёлк был не белый и не кремовый, а чуть голубоватый, редкий оттенок, который любила синьора Изабетта. Чёрная полоса на гербе была вышита не грубой шерстью, а тонким шёлком с синим отблеском. Красное поле — не тем военным красным, что на плаще Асканио, а более глубоким, винным, почти гранатовым. Подделка. Или проба подделки. Или кусок чего-то, что должно было стать чужим гербом в нужный час.

За дверью послышались шаги. Аньезе быстро завернула лоскут в старое полотно и спрятала под передник. Настоящий край плаща оставила на плите, будто всё ещё осматривает его. В комнату вошла Роза, тяжёлая, широкоплечая, с руками, красными до локтей. Она сразу увидела герб и перекрестилась.

— Убери эту мерзость от чистой воды, — сказала прачка. — Не хватало нам ещё стирать дьявольское знамя.

— Это плащ, не знамя.

— Для мёртвых в Санта-Марте, может, разницы не было.

Аньезе хотела спросить, знала ли Роза кого-нибудь из Санта-Марты, но не спросила. Горе, даже чужое и пересказанное, не терпит любопытных рук. Она сложила вещи так, как велела Марта, и вышла с лоскутом под передником. Каждый шаг казался слишком громким. Кровь на ткани была сухой, но ей всё равно чудилось, будто пятно проступает через платье и все сейчас увидят: служанка несёт не бельё, а тайну.

До вечера она не могла попасть к пленнику. В верхнее крыло приходили люди из совета; у двери стояли незнакомые стражники, не Паоло и не Томмазо. Синьор Орландо дважды поднимался наверх, один раз с нотариусом, один раз с человеком в монашеском плаще. Снизу Аньезе слышала только глухие шаги и один раз — короткий звук, похожий на удар. Никто не закричал. Это было хуже крика. В доме, где люди умеют не кричать, боль часто считается частью порядка.

Лоскут она спрятала в бельевой, между двумя стопками старых простыней, которые использовали для укрытия мебели. Место было ненадёжное, но ничего лучшего у неё не было. Служанка не имела сундука с замком. Её вещи лежали там, где их могла проверить Марта, хозяйка или любая старшая служанка, которой дали приказ. Собственное пространство бедного человека часто заканчивается у его кожи. Всё остальное принадлежит тем, кто даёт крышу.

После полудня Аньезе снова вызвали к синьоре Изабетте. Хозяйка была бледна и раздражена. На столе перед ней лежали два дешёвых листка с кровавым гербом, один смятый,

другой разорванный пополам. Кто-то, видимо, принёс их с площади. Синьора держала веер, хотя в комнате не было жарко.

— Город сошёл с ума, — сказала она, когда Аньезе вошла. — Люди покупают ненависть за две монеты и несут её домой, как святой образ.

— Да, синьора.

— Ты видела эти листки?

Аньезе могла сказать «нет». Но её корзину могли проверить. Печатник мог вспомнить служанку из дома Белланди. В такой мелочи ложь была опаснее правды.

— Видела на площади.

— Купила?

— Один, синьора.

— Зачем?

Аньезе опустила глаза.

— Хотела понять, как выглядит герб, о котором все говорят.

Госпожа долго молчала. Потом неожиданно рассмеялась коротко и сухо.

— Как выглядит герб. Бедная девочка. Гербы не выглядят, Аньезе. Гербы означают. Один и тот же рисунок может означать честь, если его держит победитель, и виселицу, если победитель решил иначе.

Она взяла один листок и разорвала его ещё мельче. Куски бумаги посыпались на стол, красные и чёрные обрывки перемешались с белым. Аньезе смотрела на них и думала о том, что настоящая вышивка на плаще Асканио была куда сложнее. У листка не было серебряного острия в углу щита. У лоскута из прачечной — тоже. Подделывая ненависть для толпы, никто не заботился о таких мелочах. Подделывая герб для дела, могли заботиться лучше. Но зачем тогда тонкий домашний шёлк? Зачем кровь на краю? Зачем стежок, похожий на работу Лауры?

— Он говорил сегодня? — спросила синьора Изабетта.

— Я ещё не поднималась к нему.

— Когда поднимешься, смотри на руки.

Аньезе не сразу поняла.

— На руки, синьора?

— Мужчина может научить лицо лгать. Руки хуже слушаются. Если он испугается какого-то имени, пальцы выдадут раньше глаз. Мой муж считает, что надо слушать слова. Я прожила достаточно, чтобы знать: слова обычно приходят последними.

Синьора Изабетта сказала это устало, почти равнодушно. Но Аньезе вдруг поняла, что хозяйка тоже наблюдает. Не так, как служанка. Не снизу, где видны подола, грязь, замки и забытые вещи. Она наблюдает изнутри своей клетки, обтянутой дорогой тканью. И, возможно, за годы брака научилась видеть не меньше.

— Да, синьора, — сказала Аньезе.

— И не верь листкам, — добавила хозяйка после паузы.

Аньезе подняла глаза.

— Синьора?

Изабетта Белланди смотрела на разорванный герб с отвращением.

— Толпе дают простые картинки, потому что сложные она порвёт, не поняв. Но не думай, что сложная картинка всегда честнее. Иногда ложь тем сильнее, чем красивее вышита.

Эти слова ударили слишком близко. Аньезе почувствовала, как лоскут, спрятанный в бельевой, будто отозвался под слоями старой ткани. Госпожа знала? Догадывалась? Предупреждала? Или просто говорила о гербах вообще, о мире, где всё, что можно нарисовать, можно и исказить?

Ответа не было. В доме Белланди ответы редко лежали там, где вопрос.

К пленнику её пустили ближе к вечеру. Томмазо стоял у двери с мрачным лицом и не стал отпускать обычных насмешек. Паоло сидел на табурете напротив, бледный, злой, с повязкой на ладони. Значит, ночью или днём он всё же получил рану. При виде Аньезе молодой стражник отвернулся, но слишком поздно: она заметила на его рукаве след чёрной копоти.

— Воду, — сказал Томмазо. — И быстро. Сегодня ему довольно разговоров.

— Кто приходил? — спросила Аньезе, потому что иногда вопрос, заданный без надежды на ответ, всё равно заставляет человека сделать лишнее движение.

— Совет, — ответил Томмазо. — Судья. Святой отец. Сам папа римский, если тебе так легче таскать кувшин.

— Святой отец бил его по ране или это сделал судья? — спросила она тихо.

Паоло резко поднялся.

— Следи за языком.

Томмазо, неожиданно, не поддержал его. Только открыл дверь и буркнул:

— Делай своё дело, птичка. И не смотри слишком много, раз глаза дешёвые.

Аньезе вошла.

В комнате стало темнее. Свечи ещё не зажгли, а вечерний свет за окном уже густел. Асканио лежал на боку, но не спал. Рубаха у него была новая, чистая, слишком грубая для человека его положения, и оттого он казался ещё более пленным, чем в грязной. Цепь на правой руке натянулась; он, видимо, пытался сесть и не смог. На щеке появилась свежая ссадина. Губа была рассечена. Повязка на боку снова лежала иначе, и Аньезе сразу увидела тёмное пятно под нижним краем.

Она поставила воду на стол, взяла чистую ткань и подошла к кровати. Сегодня стражник остался за дверью, но замок не повернули. Это означало: их хотят слышать. Асканио посмотрел на неё из-под полуопущенных век.

— На площади продают мою смерть? — спросил он.

Аньезе замерла.

— Почему вы так решили?

— У стражников после полудня всегда одинаковые лица. Они ненавидят человека увереннее, когда кто-то объяснил им, за что именно. Листки?

Она кивнула.

— С гербом?

— Да.

— Сколько стоит моя кровь?

— Две мелкие монеты.

— Дёшево. Мои враги теряют хватку.

Она ожидала насмешки, но в его голосе была не весёлость, а усталость. Он отвернулся к окну. Цепь тихо звякнула.

— Что на гербе? — спросил он.

— Красный щит. Чёрная полоса. Золотая кайма. На листке всё грубо.

— Серебряное острие в правом верхнем углу есть?

Аньезе молчала всего мгновение, но ему хватило.

— Нет, — сказал он сам. — Конечно. Толпе не нужны точности.

— Вы думаете, листки поддельные?

— Листок не может быть поддельным. Он может быть только полезным или бесполезным. Герб на нём полезен. Он учит город видеть во мне то, что ему велели видеть.

— А что город должен видеть?

— Человека, которого выгодно убить до того, как он заговорит.

Она опустила глаза к его повязке.

— Вам снова тревожили рану.

— Ты опять говоришь с тканью?

— С вами говорить опаснее.

— Для кого?

— Для меня.

Он посмотрел на неё, и в его взгляде впервые не было ни насмешки, ни испытания. Только короткое, почти уважительное признание очевидного.

— Да, — сказал он. — Для тебя опаснее.

Аньезе сменила повязку. На этот раз рана кровила больше. Не смертельно, но достаточно, чтобы стало ясно: кто-то намеренно заставлял его двигаться, возможно, поднимал, сажал, толкал, бил так, чтобы боль не оставляла слишком заметных следов. Она работала молча. Её пальцы пахли уксусом, зверобоем и слабым дымом от очага; под ногтем правой руки осталась крошечная красная нить от лоскута, которую она не заметила, когда прятала ткань. Асканио вдруг перехватил взглядом её руки.

— Ты нашла что-то, — сказал он.

Аньезе не ответила.

— Не письмо, — продолжил он. — Письмо ты прятала бы ближе к телу и боялась бы меньше испачкать пальцы. Не монету — ты не похожа на дурочку, которая берёт плату до того, как знает цену. Ткань?

Она затянула узел на повязке чуть резче, чем нужно. Он поморщился, но не отвёл глаз.

— Осторожнее, Аньезе. Твои руки отвечают быстрее лица.

Она вспомнила слова синьоры Изабеллы: лицо можно научить лгать, руки хуже слушаются. В этом доме, кажется, все говорили о руках. Только каждый боялся, что они выдадут разное.

— У вас жар, — сказала она.

— И всё же я не слеп. Что за ткань?

— Я не говорила, что нашла ткань.

— Не говорила. Поэтому я и уверен.

Она взяла грязную повязку, сложила её в миску и на этот раз очень тщательно вытерла пальцы.

— Вы умеете отличить настоящий герб от подделки? — спросила она после паузы.

Он не улыбнулся. Лицо его стало неподвижным.

— Любой человек моего рода обязан уметь это раньше, чем держать нож.

— Даже если подделка хорошая?

— Хорошая подделка опаснее плохого врага. Плохой враг хочет твоей крови. Хорошая подделка хочет твоего имени.

За дверью скрипнула половица. Кто-то слушал. Аньезе взяла кувшин и сделала вид, что наливает воду.

— А если герб вышит тонкой рукой? Не как знамя. Не как плащ. Как для капеллы или покрова.

Асканио медленно сел, хотя это явно стоило ему боли. Цепь натянулась. Лицо его побелело под смуглой кожей, но голос остался ровным.

— Где ты это видела?

— Я спросила вообще.

— Не лги мне так плохо. Где?

Аньезе посмотрела на дверь. Потом на его руку, где цепь оставила красный след. Потом на окно с железной полосой. Ей хотелось сказать ему всё. Не из доверия, нет. Просто тайна, разделённая с тем, кто понимает её вес, становится легче. Но если он использует это против неё? Если он действительно убийца, который хватается за любую щель? Если лоскут — часть его собственной игры, а она уже принесла ему то, что он хотел узнать?

— Почему вас держат здесь, а не в ратуше? — спросила она вместо ответа.

Он тихо выдохнул. Почти смех, но без веселья.

— Потому что в ратуше у стен меньше ушей одного дома.

— Это не ответ.

— Это лучший ответ, который ты получишь, пока не решишь, кто ты: служанка Белланди или свидетель.

Слово ударило сильнее, чем «красива» или «некрасива», сильнее, чем «девка» у дверей и «птичка» Томмазо. Свидетель. У такого слова было место в суде, в протоколе, в присяге, в жизни людей с правом говорить. Не в бельевой. Не у прачечной бочки. Не в руках девушки, которой доверяли потому, что она никому не казалась опасной.

— Я служанка, — сказала Аньезе.

— Это то, что с тобой сделали. Не всегда то, чем ты являешься.

— Удобные слова для человека, который ничего не потеряет от моей ошибки.

На этот раз он отвёл глаза первым. И это было неожиданно. Аньезе увидела, как на его лице на мгновение проступила не вина даже, а знание вины.

— От твоей ошибки я могу получить свободу, — сказал он. — От твоей правды — возможно, смерть. Так что не думай, будто мне безразлично, что ты выберешь.

— Почему?

— Потому что правда редко служит тем, кто надеется ею воспользоваться.

За дверью снова скрипнуло. Аньезе поняла, что пора уходить. Она забрала миску, поднос, пустую чашу. У порога Асканию сказал негромко:

— Если ткань тонкая, ищи изнанку. Люди, которые подделывают гербы для чужих глаз, часто забывают, что настоящие мастера говорят на обратной стороне.

Она не ответила. Но слова забрала с собой.

Вечером дом готовился к ужину для трёх гостей, которых не называли гостями. Поставили не парадное серебро, но лучшее из повседневного. Вино достали из второго погреба, не самого дорогого, однако и не того, что подавали дальним родственникам. Аньезе помогала Джемме раскладывать салфетки и всё время думала об изнанке. Изнанка была миром служанок. Господа смотрели на лицо ткани: цвет, узор, герб, блеск. Служанки стирали, штопали, разглаживали и знали, где узел, где закреп, где нить оборвана и снова спрятана. Если мастер говорит на обратной стороне, то именно такие, как Аньезе, всю жизнь слушают этот язык, сами того не называя.

Она дождалась минуты, когда Марта ушла к госпоже, Джемму отправили на кухню, а коридор у бельевой опустел. Лоскут лежал там, где она оставила его, между старыми простынями. Развернув ткань, Аньезе впервые посмотрела не на вышивку, а на изнанку.

Сначала она увидела только хаос нитей. Красные, чёрные, золотые, мелкие закрепы, пересечения, следы крови, потемневший край. Потом наклонилась ближе к свету маленькой свечи. Изнанка и правда говорила иначе. На лицевой стороне герб был почти ровный, но с обратной было видно: чёрную полосу передельвали. Её сначала вышили не под тем углом, затем распустили и положили заново. Значит, тот, кто делал подделку, не знал герба с первого раза. Учился по образцу. Или по словесному описанию.

В углу, где на настоящем плаще должно было быть серебряное острие, ничего не было. Только маленький закреп золотой нитью, ненужный для узора. Аньезе осторожно провела по нему ногтем, и нитка чуть отогнулась. Под ней обнаружили две крошечные буквы, вышитые почти цветом ткани, так, что без обратного света их нельзя было заметить.

L. B.

Латинские буквы. Лаура Белланди.

Аньезе сидела над лоскутом так долго, что воск со свечи потёк на блюде и застыл белой слезой. Её первая мысль была нелепой: Лаура же мертва. Мёртвые девушки не вышивают под-

дельные гербы на окровавленном шёлке. Потом пришла вторая, хуже: этот лоскут мог быть старым. Двухлетней давности. Сделанным до её смерти. Сделанным самой Лаурой. Или кем-то, кто хотел, чтобы так подумали. В доме, где мёртвое имя боялись произносить, оно вдруг оказалось спрятано на изнанке кровавого герба.

Шаги в коридоре заставили её вздрогнуть. Она едва успела завернуть ткань, когда дверь бельевой открылась. На пороге стояла синьора Изабетта.

Не Марта. Не Джемма. Не случайная служанка. Хозяйка дома.

Аньезе поднялась так быстро, что ударилась бедром о низкий сундук. Лоскут она держала в руках, и спрятать его уже было нельзя. Синьора Изабетта вошла без спешки, закрыла за собой дверь и посмотрела сначала на лицо Аньезе, потом на свёрнутую ткань. Её лицо не изменилось. Именно это было страшнее всего.

— Покажи, — сказала она.

Аньезе не двинулась.

— Синьора...

— Я сказала: покажи.

Отказать хозяйке в её доме было почти невыносимо. Аньезе развернула лоскут. При свете свечи красный щит казался тёмным, почти бурым. Чёрная полоса лежала поперёк него, как след от ножа. Синьора Изабетта смотрела на вышивку так, будто перед ней открыли не ткань, а могилу.

— Где ты это взяла? — спросила она.

— В грязном белье из верхней комнаты.

— Кто ещё видел?

— Никто, синьора.

— Пленник?

Аньезе замаялась на долю мгновения. Этого хватило.

— Что ты сказала ему? — голос Изабетты стал тише.

— Ничего о буквах. Я сама увидела их только сейчас.

— О каких буквах?

И тут Аньезе поняла: госпожа видела герб, но не видела изнанку. Не знала. Или делала вид, что не знала так хорошо, что даже страх в её глазах пришёл с опозданием.

Аньезе медленно перевернула лоскут и показала крошечные инициалы. L. B.

Синьора Изабетта не вскрикнула. Не перекрестилась. Не отступила. Она только протянула руку и коснулась букв двумя пальцами, очень осторожно, будто боялась причинить боль не ткани, а той, кто когда-то держал иглу. Потом её лицо стало таким старым, что Аньезе впервые увидела в ней не хозяйку дома, а мать, пережившую дочь и не знающую, была ли эта дочь спасена хотя бы смертью.

— Это нужно сжечь, — сказала Изабетта.

Аньезе смотрела на неё, не понимая.

— Синьора?

— Сейчас же. В малом очаге. Пепел развеешь в сточную яму. И забудешь, что видела.

— Но это может быть доказательством.

Слова вырвались слишком прямо. Госпожа подняла на неё глаза. Мать исчезла. Осталась синьора Белланди, жена члена совета, женщина в дорогом тёмном платье, привыкшая, что её приказ имеет вес закона для всех, кто живёт под её крышей.

— Доказательством чего, Аньезе? — спросила она. — Что моя мёртвая дочь вышивала герб убийцы? Что служанка тайно перебирает окровавленные вещи пленника? Что в доме Белланди хранятся ткани, которые толпа с радостью примет за знак предательства? Ты думаешь, правда сама себя защитит, стоит только вынести её на площадь?

— Нет, синьора, — ответила Аньезе, чувствуя, как пересохло во рту.

— Тогда учись. Правда без власти — это не меч. Это шея, подставленная под нож.

Она взяла лоскут из рук Аньезе. На мгновение показалось, что ткань сейчас исчезнет в складках её платья, как исчезали письма, имена и ночные гости. Но синьора протянула его обратно.

— Ты сожжёшь сама. Чтобы помнить, что некоторые вещи убивают не тех, кто виновен, а тех, кто слишком поздно понял.

Аньезе приняла ткань. Пальцы её легли прямо на изнанку, на две крошечные буквы. L. В. Лаура Белланди. Мёртвая дочь дома. Нить, спрятанная там, где смотрят только служанки.

Синьора Изабетта открыла дверь и уже на пороге обернулась.

— И Аньезе, — сказала она почти беззвучно, — если он спросит о Лауре, ты не скажешь ему ничего. Ни слова. Потому что мёртвые иногда губят живых вернее, чем пленники.

Она ушла. Аньезе осталась в бельевой с окровавленным лоскутом в руках и впервые ясно поняла: кровавый герб принадлежал не только Асканио ди Валькастро. Теперь он был вышит и на доме Белланди.

В малом очаге у прачечной ещё тлели угли. Ей нужно было бросить ткань в огонь, дожидаться пепла и забыть. Так велела хозяйка. Так было безопаснее. Так поступила бы хорошая служанка.

Аньезе опустилась на колени перед очагом, протянула руку к огню и вдруг увидела, что рядом с инициалами Лауры, почти у самого кровавого края, под слоем тёмной нити спрятан ещё один знак: не буква, не узор, а крошечная вышитая дверь.

Дверь без ручки.

Глава 4. Дочь, о которой не говорят

Аньезе не сожгла лоскут.

Она стояла перед малым очагом у прачечной, держа ткань над углями, и смотрела, как жар поднимается к пальцам. В доме Белланди её учили многому: не отвечать прежде вопроса, не смотреть господам в глаза дольше дозволенного, не слушать у дверей так явно, чтобы это стало обвинением, не держать в руках чужую тайну, если не знаешь, куда её положить. Но никто не учил её, что делать, когда сама вещь в руке будто просит не милости, а свидетельства. Окровавленный шёлк был лёгким, почти невесомым, однако в нём теперь лежало больше тяжести, чем в кувшине воды, который она носила наверх к пленнику. На лицевой стороне — поддельный кровавый герб. На изнанке — крошечные буквы L. В. И ещё знак, от которого у Аньезе до сих пор холодели пальцы: маленькая вышитая дверь без ручки.

Она могла бросить ткань в огонь. Угли приняли бы её быстро: шёлк сначала скривился бы, потом почернел, золотая нить свернулась бы тонкой червячной линией, кровь стала бы просто дымом, а инициалы мёртвой девушки — пеплом, который можно развеять в сточную яму, как велела синьора Изабетта. Хорошая служанка так бы и поступила. Хорошая служанка помнит, что приказ хозяйки стоит больше её сомнений. Хорошая служанка не берёт на себя право решать, какая правда достойна огня, а какая — памяти.

Но Аньезе вдруг поняла, что больше не знает, хочет ли быть хорошей служанкой.

Она поднялась, завернула лоскут в старое полотно, а потом спрятала его не в бельевой, где уже искала бы всякая приказанная рука, и не под своим тюфяком, где любая девчонка могла нащупать свёрток ночью. В прачечной за бочкой с золой была трещина между двумя камнями. Роза давно проклинала эту щель, потому что туда забивалась мокрая грязь, но именно поэтому никто не лез туда без нужды. Аньезе опустилась на колени, выскребла немного серого порошка, вложила свёрток глубоко в пустоту и засыпала золой. Получилось грязно, некрасиво и надёжнее, чем любой сундук без её собственного замка.

Когда она выпрямилась, сердце билось так сильно, будто она не ткань спрятала, а уже выпустила пленника из верхней комнаты.

Остаток вечера прошёл в напряжении, которое не имело лица. Синьора Изабетта больше её не звала. Синьор Орландо не появлялся в тех комнатах, где могли быть служанки без дела. Марта проверяла всё с прежней сухостью, но на Аньезе почти не смотрела, и это было хуже брани. Дом жил, ел, молился, гасил свечи, запирали двери, а имя Лауры, спрятанное на изнанке лоскута, будто стало ходить вместе с Аньезе по всем коридорам. Оно было на лестнице у семейной капеллы, на краю вышивальной рамы госпожи, на закрытом молитвеннике с голубой лентой, на портрете девушки в галерее, мимо которого Аньезе теперь не могла пройти прежним шагом.

Раньше портрет был просто частью дома. Мёртвая дочь богатой семьи, написанная в голубом платье, с тонкими пальцами, лежащими на раскрытой книге. Художник сделал её кожу слишком светлой, глаза слишком глубокими, губы слишком спокойными, как будто хотел не изобразить Лауру, а заранее подготовить зрителя к мысли, что такая девушка не могла остаться среди живых надолго. Теперь же Аньезе смотрела на эти пальцы и думала об изнанке вышивки. О мелких стежках. О том, как девичья рука могла выводить чужой кровавый герб, ошибиться в наклоне чёрной полосы, распустить, переделать, спрятать инициалы и дверь без ручки. Если это делала Лаура, она не просто вышивала. Она оставляла знак тому, кто сумеет смотреть с обратной стороны.

Наутро Аньезе проснулась раньше остальных. В комнате для служанок ещё стоял плотный сонный запах: шерстяные одеяла, человеческое тепло, дешёвое мыло, влажные волосы Джеммы, которая всегда ложилась спать, не просушив косу. За маленьким окном бледнел рас-

свет. Снаружи по двору уже шёл конюх, и ведро у него звякало о бедро. Дом ещё не поднялся полностью, и это было редкое время, когда вещи принадлежали сами себе: столы ещё не ждали скатертей, лестницы — шагов господ, кувшины — воды, а служанки — приказов.

Аньезе оделась тихо, поправила чепец и вышла. Она не сразу пошла к прачечной проверить лоскут, хотя желание было почти болезненным. Как только человек слишком часто проверяет тайник, он сам показывает миру, где спрятал сердце. Вместо этого она взяла тряпку, ведёрко с водой и отправилась в галерею у семейной капеллы, будто просто выполняет утреннюю работу. Марта любила, когда пыль с рам снимали до первой молитвы госпожи.

Портрет Лауры висел в полутени. Утренний свет падал на него сбоку, и лицо девушки казалось менее небесным, более живым. Аньезе осторожно вытерла нижний край рамы. На золотом дереве, среди резных листьев, пыль собиралась в углублениях, и в одном из них застряла тонкая голубая нить. Она могла быть от любого старого покрыва, от ткани, которой когда-то протирали раму, от платья, давно съеденного молью. Но именно такой оттенок был на лоскуте с кровавым гербом.

— Не трогай её долго, — раздалось за спиной.

Аньезе обернулась так резко, что вода в ведёрке плеснула на пол. В дверях молельни стояла Роза, старшая прачка. Без дневной ругани и мокрых красных рук она казалась старше, чем обычно: широкое лицо серое, губы сжаты, плечи опущены. В руках у неё были чистые покрыва для алтаря.

— Прости, Роза, — сказала Аньезе. — Я только пыль.

— Пыль с мёртвых не стирается, — ответила прачка. — Только размазывается по живым.

Это было слишком похоже на начало разговора, которого в доме не должно быть. Аньезе присела, вытерла воду с пола и заставила себя не торопиться.

— Ты знала синьорину Лауру? — спросила она, не глядя на Розу.

Прачка подошла ближе к капелле и положила покрыва на скамью. Некоторое время она молчала, и Аньезе уже решила, что ответа не будет. Старшие слуги часто умели молчать лучше господ: их молчание не казалось приказом, но было крепче замка.

— Все в доме её знали, — сказала наконец Роза. — Только теперь делают вид, будто она была картиной с самого рождения.

— Какая она была?

— Не для твоих ушей.

— Мёртвым уже всё равно, чьи уши их слышат.

Роза резко посмотрела на неё. В её взгляде мелькнуло раздражение, но за ним была тревога.

— Не говори так в этом доме.

— Почему?

— Потому что здесь мёртвым не всё равно. Их просто заставили лежать тихо.

Аньезе почувствовала, как воздух в галерее стал холоднее. Из капеллы тянуло воском и старым камнем. На стене напротив портрета висел маленький серебряный крест, подаренный Лаурой в последний год жизни. Надпись под ним была почти стёрта пальцами тех, кто касался её в молитве.

— Говорят, она умерла от горячки, — осторожно произнесла Аньезе.

Роза хмыкнула.

— В хороших домах все неудобные смерти называют горячкой. Это удобная болезнь. Она приходит быстро, спрашивать не умеет, свидетелей не требует.

— Значит, не горячка?

Прачка взяла один из покрывов и начала расправлять его на руках, хотя в этом не было нужды. Ткань была белая, с гранатовыми цветами по краю. Красные стежки легли густо и ровно, почти как на вышивальной раме синьоры Изабеллы.

— Я не лекарь, — сказала Роза. — Я только стираю то, что остаётся после лекарей, мужей и священников. А после синьорины Лауры осталось мало белья. Слишком мало для девушки, которая будто бы три дня лежала в горячке.

— Что осталось?

— Ночная сорочка. Простыня. Платок. Всё чистое почти. Слишком чистое. А гроб вынесли ночью.

Аньезе перестала двигаться.

— Ночью?

— Не повторяй за мной, как попугай, — прошипела Роза. — Да, ночью. Без всех слуг. Без женщин, которые её одевали с детства. Без прощания в капелле. Синьор Орlando сказал, что болезнь была заразная и надо беречь дом. Может, и правда. Может, Господь свидетель. Только я видела, как Марта потом три дня ходила с лицом, будто ей велели похоронить не девушку, а собственный язык.

— Марта была при ней?

— Марта была при всём, что в этом доме не положено помнить.

Роза перекрестилась, но не перед портретом, а будто от него.

— Не спрашивай больше, Аньезе. Ты девка неглупая, но ум служанки — это свеча в кладовой. Хорошо, пока светит на полки. Плохо, если кто-то увидит огонь сквозь щель.

— А если в кладовой уже дым?

Роза вскинула на неё глаза. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, и Аньезе поняла, что прачка тоже что-то знает. Не всё, может быть. Не про лоскут. Не про инициалы. Но знает достаточно, чтобы бояться не слухов о Валькастро, а стен дома.

— Тогда надо молиться, чтобы сгорел не весь дом, — сказала Роза. — И держаться ближе к двери.

Она забрала покровы и ушла в капеллу. Аньезе осталась перед портретом. Лаура смотрела с холста спокойно, почти кротко. Так смотрят не те, кто ничего не знает, а те, кому уже поздно предупреждать.

Весь день имя Лауры будто проявлялось в вещах. Стоило Аньезе начать замечать, и оказалось, что дом полон ею. В малой гостиной на нижней полке стояла шкатулка с выцветшим голубым шнурком. В комнате госпожи у окна лежали ножницы для тонкой вышивки с ручками в форме лилий; Марта однажды говорила, что ими пользовалась синьорина. В шкафу для церковных тканей Аньезе нашла моток того самого голубоватого шёлка, которым, возможно, был вышит лоскут. На крышке шкафа висел маленький ключ, но не тот, которым пользовалась Марта. Этот был тоньше, изящнее, с головкой в форме двери без ручки.

Аньезе заметила его случайно, когда помогала синьоре Изабелле выбрать покров для завтрашней мессы. Госпожа стояла рядом, бледная, с прямой спиной и усталым лицом, перебирая ткани так, будто каждая была страницей в книге обвинений. Ключ висел на внутреннем крючке дверцы, почти спрятанный за складкой старого покрывала. Увидев его, Аньезе почувствовала, как сердце ударило в горло. Дверь без ручки на лоскуте. Ключ с дверью без ручки в шкафу Лауры. Совпадение? В доме Белланди слишком многое уже называли случайностью, чтобы верить ещё одной.

— Этот покров не трогай, — резко сказала синьора Изабелла.

Аньезе отдернула руку. Она и не собиралась трогать ключ, но, видимо, слишком долго смотрела.

— Простите, синьора.

— Ты стала рассеянной.

— Нет, синьора.

— Не лги. Ты смотришь на вещи так, будто они должны тебе ответить.

Аньезе опустила глаза. В комнате было тихо. За окном кричали голуби, где-то во дворе ругался конюх, но здесь, среди сложенных покровов, молитвенников и запаха лаванды, каждый звук казался оскорбительно далёким. Синьора Изабетта закрыла шкаф и взяла ключи. Маленький ключ с дверью без ручки звякнул о другие.

— Синьора, — начала Аньезе осторожно, — синьорина Лаура сама вышивала покровы для капеллы?

Госпожа обернулась не сразу. Сначала её пальцы сомкнулись на ключах, потом она медленно повернула голову. На лице её не было ни удивления, ни гнева. Только неподвижность, за которой, как за закрытыми ставнями, сразу стало темно.

— Почему ты спрашиваешь?

— Я видела стежки на старом покрове. Они очень тонкие.

— Служанке достаточно знать, какой покров вынести, а какой оставить.

— Да, синьора.

— Тогда знай это.

Она пошла к столу, но Аньезе, сама не понимая, откуда взялась смелость, произнесла:

— Роза сказала, что синьорину Лауру хоронили ночью.

Синьора Изабетта остановилась.

Тишина стала другой. До этого она была холодной; теперь в ней появился край. Аньезе сразу поняла, что сделала ошибку. Не потому, что спросила слишком прямо. А потому, что произнесла вслух то, что в доме держалось не как память, а как запрет.

— Роза много говорит, когда стареет, — сказала госпожа.

— Она сказала, что болезнь могла быть заразной.

— И это правда.

— А почему тогда...

— Хватит.

Одно слово. Без крика, без движения. Но Аньезе замолчала так резко, будто ей закрыли рот ладонью. Синьора Изабетта подошла ближе. Она была ниже мужа, тоньше, слабее на вид, но в эту минуту в ней было достаточно власти, чтобы вся комната сузилась до расстояния между ними.

— Ты думаешь, если умеешь читать буквы на свёртках и замечать грязь на повязках, то можешь читать мёртвых? — спросила она тихо. — Ты ошибаешься, Аньезе. Мёртвые не книги. И живые не позволят тебе листать их безнаказанно.

— Я не хотела...

— Нет. Хотела. Ты именно этого и хотела. Сначала спросила о стежках. Потом о похоронах. Завтра, может быть, спросишь, почему у моей дочери был ключ, почему её молитвенник лежит у меня на столе, почему её имя нельзя произносить при муже. А послезавтра кто-нибудь спросит уже о тебе. Почему служанка, такая тихая и неброская, слишком часто поднимается к пленнику? Почему она задерживается там дольше, чем нужно для воды и повязки? Почему знает слова мужчины, которого город называет убийцей? Почему смотрит на его руки, его рубаху, его рану? Почему приносит из его комнаты грязные ткани и прячет глаза?

У Аньезе похолодело внутри. Это было не просто предупреждение. Госпожа, сама того желая или нет, показала ей оружие, которое лежало на столе с самого первого дня. Не нож, не яд, не приказ о выгоне. Позор.

— Синьора, я делаю только то, что мне велено, — сказала она.

— Кто это подтвердит? — спросила Изабетта.

Аньезе молчала.

— Стражники? Они скажут то, что им прикажут мужчины с печатями. Марта? Она слишком стара, чтобы спорить с домом, который её кормит. Джемма? Девчонка испугается первого

окрика. Пленник? Его слово уже стоит меньше грязи у ворот. А твоё? — Госпожа чуть наклонила голову. — Твоё слово, Аньезе, весит ровно столько, сколько мы позволяем ему весить.

Это было сказано без злобы. Почти печально. От этого угроза стала ещё страшнее. Если бы синьора Изабетта наслаждалась властью, её можно было бы ненавидеть. Но она будто просто напоминала закон мира, в котором сама жила много лет и который теперь обращала против той, кто осмелился спросить о Лауре.

— Стоит кому-то сказать, что ты слишком охотно ходила к Валькастро, — продолжила госпожа, — и город поверит. Не потому, что ты красива. Красота здесь даже помешала бы: красивые женщины вызывают зависть, и кто-нибудь нашёл бы причину сомневаться. А такая, как ты, вызовет у людей другое удовольствие. Они скажут: видите, даже тихая дурнушка мечтала о хищнике. Даже служанка захотела стать госпожой в чужой постели. Даже невзрачная девка нашла способ запятнать дом, который её пожалел.

Каждое слово ложилось точно, как стежок. Аньезе не плакала. Она вообще редко плакала при людях. Но ей показалось, что кожа на лице стала слишком тесной, будто все её черты, которые госпожа только что превратила в будущую насмешку, разом ожили и стали чужими. Некрасива. Неброска. Удобна. Безопасна. А теперь именно это можно будет обернуть против неё: мол, если такая девушка оказалась у двери опасного мужчины, значит, виновата вдвойне — не соблазном, так тайной жадностью к нему.

— Я не сделала ничего постыдного, — произнесла Аньезе, и голос её прозвучал тише, чем она хотела.

— Постыдное редко нужно делать, чтобы тебя им наказали, — ответила синьора Изабетта. — Достаточно оказаться там, где сильным удобно увидеть стыд.

Аньезе подняла глаза. На мгновение между ними не осталось госпожи и служанки. Были две женщины в доме, где мужские решения могли превратить любую правду в грязь. Только одна уже научилась жить внутри этой грязи, называя её осторожностью, а другая ещё не успела понять, насколько глубока яма.

— Почему вы так боитесь имени Лауры? — спросила Аньезе почти беззвучно.

Синьора Изабетта побледнела. На этот раз по-настоящему.

— Выйди.

— Синьора...

— Выйди, пока я ещё говорю с тобой сама.

Аньезе поклонилась и вышла. В коридоре ей пришлось остановиться у стены, потому что ноги вдруг стали ватными. Она не сразу поняла, что держит ладонь у горла, будто её действительно сдавили. Вокруг продолжался обычный дом: по лестнице несли скатерти, внизу стучала посуда, где-то Джемма смеялась слишком громко и тут же получила окрик. Но для Аньезе всё изменилось. До этой минуты она боялась, что её могут выгнать, запереть, обвинить в краже, заставить молчать. Теперь она поняла, что есть наказание хуже: её могут сделать такой историей, после которой даже правда из её уст будет звучать грязно.

Она пошла не в прачечную и не в бельевую, а в маленький двор у колодца, где между стеной и лимонным деревом оставалась полоска тени. Там редко задерживались господа, потому что вид отсюда был плохой: задние окна, бочки, верёвка с кухонными тряпками, кусок неба, разрезанный крышами. Аньезе поставила ладони на каменный край колодца и долго смотрела в тёмную воду. Её лицо отражалось плохо, ломаясь от глубины и движения. Может быть, это было милосердно.

«Твоё слово весит ровно столько, сколько мы позволяем ему весить».

Она повторяла эту фразу в уме, пока та не стала почти беззвучной. Отец учил её, что слово — это след души на бумаге. Что договор держит город крепче стены, если люди боятся нарушить запись. Что имя, однажды написанное рукой свидетеля, может пережить богатство, власть и даже тело. Но отец был бедным писарем, умершим от болезни и долгов. Синьора

Изабетта была женой человека, чьи перстни открывали двери. Возможно, отец говорил о мире, каким он должен быть. Госпожа — о мире, каким он был.

К вечеру Аньезе снова послали наверх.

На этот раз она несла не только воду и лекарство, но и миску с тёплым отваром для промывания раны. Марта дала ей всё молча. У двери западной комнаты стоял Томмазо, а рядом незнакомый стражник с широким лицом и маленькими глазами. Паоло не было. Аньезе отметила это, как отмечала всё. Смена стражи изменилась. Значит, либо Паоло убрали, потому что он говорил лишнее у винной лавки, либо его готовили к другому делу.

— Быстрее, — сказал Томмазо. — У него опять жар.

— Тогда мне нужно не быстрее, а аккуратнее.

— Ты всегда такая умная?

— Нет. Только когда люди с мечами предлагают глупость.

Широколицый стражник удивлённо фыркнул. Томмазо посмотрел на Аньезе с чем-то похожим на предупреждение, но дверь открыл. В комнате было душно. Свечи горели, хотя за окном ещё не совсем стемнело. Асканию лежал на спине, и жар действительно вернулся: лицо потемнело, волосы прилипли к вискам, дыхание стало короче. Но глаза открылись сразу, как только она вошла.

— Сегодня ты идёшь так, будто тебя били не рукой, — сказал он.

Аньезе поставила поднос на стол.

— Вы говорите так, будто это ваше дело.

— В этой комнате всё, что входит и выходит, может стать моим делом.

— Потому что вы пленник?

— Потому что меня хотят убить люди, которым ты носишь чистые салфетки.

Она не ответила. Стражник остался за дверью, но щель была широкой. Разговор всё ещё мог быть услышан, и Аньезе уже знала цену словам. Она смочила полотно, подошла к кровати и начала разматывать старую повязку. Рана выглядела хуже. Края воспалились, кожа вокруг была горячее. Она работала осторожно, но Асканию всё равно сжал зубы. На этот раз он не стал делать вид, будто боли нет. Может быть, устал. Может быть, начал считать её достаточно умной, чтобы не разыгрывать перед ней железного святого.

— Вам нужен лекарь, — сказала она.

— Мне нужен суд.

— Сначала вам нужно не умереть.

— Ты говоришь, как Белланди.

— Нет, — ответила она тихо. — Он хочет, чтобы вы дожили до удобного ему часа. Я говорю о другом.

Асканию посмотрел на неё внимательнее. В комнате было слышно, как за дверью кто-то переступил с ноги на ногу.

— Сегодня тебя напугали, — сказал он.

— Меня часто пугают.

— Нет. Сегодня тебе показали, как именно сделают твою правду грязной.

Она замерла на мгновение. Полотно в её руке остыло.

— Вы слышали?

— Я не слышал. Я знаю. Сильные люди начинают с одного и того же: заставляют слабых стыдиться собственного голоса. Бедного — своего голода. Женщину — своего тела. Слугу — своего места. Свидетеля — того, что он вообще посмел видеть. Тогда им не нужно вырывать язык. Человек сам держит его за зубами.

Это не было утешением. Он говорил не мягко, не сострадательно, не пытаясь снять с неё боль. Он просто называл устройство мира, как военный называет расположение стен перед штурмом. И от этой сухой точности Аньезе стало легче и тяжелее одновременно. Легче —

потому что её страх перестал быть только её стыдом. Тяжелее — потому что если это закон, то против него нельзя просто пожаловаться Марте.

— А если у слабого действительно нет права говорить? — спросила она.

— Право редко дают тем, кто нуждается в нём больше всех.

— Значит, надо молчать?

— Нет. Значит, прежде чем говорить, надо понять, кто захочет, чтобы ты замолчала, и чем ударит первым.

Аньезе промыла рану. Он отвернулся к стене, но продолжал говорить, чуть тише:

— Тебя ударят позором. Это дешёвое оружие, но хорошо заточенное. Меня — признанием, которого я не давал. Город — страхом. Белланди — благочестием. У каждого своя верёвка.

— А у вас?

— У меня? — Он усмехнулся. — У меня герб. Достаточно окрасить его в нужный цвет, и люди сами дорисуют кровь.

Аньезе вспомнила лоскут, спрятанный в золе. Инициалы. Дверь. Ключ на шкафу. Розу, говорившую о ночном гробе. Синьору Изабетту, которая велела сжечь доказательство и потом объяснила, как легко превратить честность служанки в распутство. Всё это уже не было отдельными странностями. Это были куски одной ткани, только рисунок ещё не складывался.

— Лаура Белланди знала вас? — спросила Аньезе.

Слова вышли тихо, но Асканио услышал. Он резко повернул голову, и в этом движении было столько боли, что она сразу поняла: да, имя попало в рану глубже, чем перевязка.

— Кто тебе сказал это имя?

— В доме есть портрет.

— Не играй со мной.

— Я не играю.

— Тогда не спрашивай о мёртвых, пока не знаешь, кто их убил.

Аньезе почувствовала, как внутри снова поднимается холод.

— Вы думаете, её убили?

Он молчал. Это молчание было страшнее ответа.

— Синьорина Лаура умерла от горячки, — сказала Аньезе, и сама услышала, как пусто звучат эти слова теперь, после Розы.

— В Сан-Витторе многие умерли от горячки, когда начали задавать вопросы.

— Вы знали её?

— Нет.

Ответ был слишком коротким. Слишком быстрым.

— Но она писала вам?

На этот раз он не успел скрыть реакцию. Пальцы его свободной руки сжались на одеяле. Лицо осталось жёстким, но рука выдала его раньше слов. Синьора Изабетта была права: руки хуже слушаются.

— Что ты нашла? — спросил он.

— Не письмо.

— Ткань.

Аньезе промолчала.

— С её рукой?

— С её инициалами.

Асканио закрыл глаза. Долго лежал так, будто собирал в себе остатки сил не для движения, а для памяти.

— Она не писала мне напрямую, — сказал он наконец. — Письмо пришло через человека Джулиано Альбани. Там не было имени Лауры. Только знак.

— Дверь без ручки?

Он открыл глаза. Теперь в них не осталось жара. Только ясность и страх, который он, в отличие от Паоло, умел держать неподвижным.

— Где ты видела этот знак?

— На изнанке ткани.

— Покажи.

— Нет.

— Аньезе...

— Нет, — повторила она, на этот раз твёрже. — Пока я не знаю, что он значит.

Он долго смотрел на неё. Потом неожиданно кивнул.

— Правильно.

Это слово смутило её больше, чем любая насмешка.

— Что значит дверь без ручки?

— Место, куда нельзя войти обычным способом. Или дело, которое открывается не ключом, а знанием. Джулиано использовал такие знаки в переписке, когда боялся, что письмо перехватят. Дверь без ручки означала: ищи скрытый вход. Не верь лицевой стороне.

— Почему этот знак был у Лауры?

— Потому что она, вероятно, увидела то, чего не должна была видеть.

За дверью послышался тихий кашель Томмазо. Аньезе понимала, что времени мало. Но теперь остановиться было невозможно.

— В Санта-Марте погиб Джулиано Альбани? — спросила она.

Асканио ответил не сразу.

— В Санта-Марте погиб человек, которого город должен считать Джулиано Альбани. Возможно, сам Джулиано тоже мёртв. Возможно, умер позже. Я не знаю. Но в день нападения он был жив. Я видел его после того, как деревня уже горела.

— Где?

— У старой мельницы на южной дороге. Он был ранен, но держался в седле. С ним был кожаный тубус. В тубусе — список имён.

— Предателей?

— Людей, которые продавали город внешнему врагу. Доступ к воротам, складам, деньгам, церковным подвалам. Не один человек. Сеть.

— И вы видели список?

— Часть. Он раскрыл его, когда просил меня довести тубус до Сан-Витторе, если сам не сможет. Я успел прочесть верхние строки, прежде чем на нас напали.

— Кто напал?

— Люди без герба. Потом появились люди в моих цветах.

— Ваши?

— Нет. — Он сказал это резко. Потом, после короткой паузы, добавил: — Или уже не мои. В войне предательство надевает знакомое лицо, чтобы подойти ближе.

Аньезе почувствовала, что её руки замерли на чистой повязке. Список. Дверь без ручки. Лаура. Джулиано. Белланди. Южные ворота. Всё приближалось к одному месту, но это место всё ещё было закрыто.

— Кто был первым в списке? — спросила она.

Асканио повернул взгляд к двери. Потом к ней. Он понимал, что произнести имя вслух — значит бросить камень в воду, где они оба уже стояли по горло.

— Если я скажу, ты больше не сможешь сделать вид, что просто носишь воду.

— Я уже не могу.

— Нет, Аньезе. Пока ты можешь. Тебя ещё можно выгнать, запугать, опозорить, заставить молчать. После этого имени тебя начнут убирать.

— Значит, имя важное.

— Все имена в таком списке важны. Но первое выбирают не случайно. Первое — дверь. Она вспомнила вышитый знак и почти усмехнулась, хотя было не до смеха.

— Без ручки?

— С ключом в чужой руке.

За дверью Томмазо сказал:

— Долго ещё?

Аньезе быстро завязала повязку и начала собирать полотна.

— Имя, — произнесла она едва слышно.

Асканио смотрел на неё тяжело, почти зло. Возможно, так смотрит человек, который не хочет толкать другого в пропасть, но знает, что тот уже стоит на краю и спрашивает, где низ.

— Капитан южных ворот, — сказал он. — Джироламо Альбани.

Аньезе нахмурилась.

— Альбани? Родственник Джулиано?

— Дальний. Это и делало имя удобным. Город верит родству, пока родство не начинает продавать город.

— Я не знаю такого капитана.

— Знаешь.

Он говорил тихо, но каждое слово было отчётливым.

— В доме его называют иначе. По праву семьи жены и по родству с Белланди. Для слуг он не капитан Альбани. Он брат твоей госпожи. Синьор Джироламо.

Аньезе застыла.

Перед глазами у неё сразу возник человек в плаще, ночной гость, прихрамывающий на правую ногу. Потом — дневной родственник за семейным завтраком. Потом — синьора Изабетта, бледнеющая при имени Лауры. Потом — карта на столе Белланди, красный круг у южных ворот. И наконец — маленький ключ на шкафу, дверь без ручки, лоскут с инициалами мёртвой дочери.

За дверью снова кашлянули, уже нетерпеливо. Аньезе взяла миску с грязными полотнами и шагнула к выходу. На пороге она услышала голос Асканио:

— Теперь ты понимаешь, почему Лауру хоронили ночью.

Она не обернулась. Если бы обернулась, стражник увидел бы её лицо.

А за дверью западной комнаты стоял не Томмазо. Он был чуть дальше, у окна коридора. Перед самой дверью, опираясь рукой на трость с серебряной головкой, ждал синьор Джироламо — брат госпожи Белланди, капитан южных ворот.

И он улыбался так, будто уже знал, какое имя только что было произнесено.

Глава 5. Верность дому

Синьор Джироламо стоял у двери так спокойно, будто не ждал Аньезе, а просто оказался в коридоре по собственной прихоти: вышел подышать прохладой, размять большую ногу, посмотреть, как в доме сестры несут воду и грязные полотна. Его трость с серебряной головкой касалась пола без стука, почти ласково. Он был не стар, но в лице уже имелась та сухая, выверенная усталость, которая часто приходит к мужчинам власти раньше седины. Тёмные волосы тронула проседь у висков, глаза казались светлыми только издали, а вблизи оказывались серозелёными, холодными, с мелкими морщинами по углам. Он улыбался Аньезе так, как улыбаются человеку, чьё имя знают лишь потому, что его удобно произнести перед наказанием.

Аньезе сделала поклон, удерживая миску с грязными полотнами обеими руками. Если бы она держала её одной, миска могла бы дрогнуть. Ей казалось, что фраза Асканио всё ещё звучит в комнате за её спиной: «Для слуг он не капитан Альбани. Он брат твоей госпожи. Синьор Джироламо». И теперь этот человек стоял перед ней, живой, благородный, безупречно одетый, с тростью, с печаткой, с правом входить к пленнику и выходить из его комнаты, не объясняясь ни с кем, кроме тех, кто был равен ему по положению.

— Аньезе, верно? — спросил он.

— Да, синьор, — ответила она.

— Моя сестра говорила, ты из разумных девушек.

За спиной Джироламо Томмазо стоял у окна и смотрел в сторону, но это была показная невнимательность. Стражники умели слушать затылком. Незнакомый широколицый стражник у двери держал руку на рукояти меча, хотя никакой нужды в этом не было: перед ними стояла служанка с миской грязных бинтов. Но именно это и казалось теперь самым страшным. В доме Белланди даже грязная тряпка в руках служанки могла внезапно стать уликой.

— Синьора слишком добра ко мне, — сказала Аньезе.

— Это семейная слабость, — отозвался Джироламо. — Мы часто бываем добры к тем, кто живёт под нашей крышей. Иногда даже дольше, чем следует.

Он произнёс это мягко, почти шутливо, но Аньезе почувствовала, как смысл лёг ей на плечи тяжёлой рукой. Он не спрашивал, что сказал пленник. Не требовал немедленного признания. Не обвинял. Он просто напомнил: крыша над головой может быть милостью, а может стать клеткой, если тот, кто держит ключ, решит иначе.

— Вы ходили к Валькастро? — спросил Джироламо.

— Госпожа велела сменить повязку и принести отвар.

— Я не о том, зачем ты входила. Я спрашиваю, ходила ли ты к нему.

Аньезе подняла глаза ровно настолько, насколько позволял приличный ответ служанки. Нельзя было смотреть дерзко. Нельзя было смотреть слишком испуганно. Оба взгляда могли быть истолкованы как вина. Она вдруг поняла, что всё её воспитание в доме Белланди состояло из искусства подбирать выражение лица для людей, которые всё равно видели в ней то, что им было нужно.

— Да, синьор. Я только что вышла от него.

— Он говорил?

— У него жар.

— Жар не мешает языку. Иногда помогает.

Аньезе ощутила, как пальцы крепче сжимают край миски. На одном из полотен уже подсыхала кровь Асканио; тёмное пятно расплзлось по ткани, как карта земли, где кто-то неправильно провёл границы.

— Он жаловался на боль, синьор, — ответила она.

— Валькастро? Жаловался?

Джироламо чуть наклонил голову, и улыбка стала тоньше. Аньезе сразу поняла ошибку. Такой человек, как Асканио, мог испытывать боль, мог сжимать зубы, мог бледнеть, но жаловаться — нет. Она сказала слишком обычную вещь о необычном пленнике.

— Не словами, синьор, — поправилась она. — Рана открылась. Это видно.

— Ах, рана. Разумеется.

Он протянул руку, будто хотел отодвинуть край полотна и посмотреть, но не коснулся. Благородные люди редко трогают грязь, если рядом есть те, кто сделает это за них. Вместо этого он посмотрел на запястье Аньезе. След от пальцев Асканио уже почти исчез, но после утренней работы кожа оставалась чуть краснее обычного. Аньезе заметила его взгляд и поняла, что он видел больше, чем показал.

— Пленный не должен хватать служанок за руки, — сказал Джироламо. — Даже если он привык брать чужое без разрешения.

— Он был в жару, синьор.

— Ты часто оправдываешь людей, которые причиняют тебе боль?

Вопрос был сказан тихо, но ударил сильнее, чем окрик. Он проверял не слова Асканио. Он проверял её склонность к жалости, к сопротивлению, к оправданию того, кого город уже назначил чудовищем. Синьора Изабетта ударила по позору. Джироламо бил по верности.

— Я не оправдываю, синьор, — сказала Аньезе. — Я объясняю, почему не закричала.

— Разумно.

Он наконец отступил в сторону, открывая ей путь к лестнице.

— Разум — хорошее качество для служанки, пока она помнит, что дом дал ей больше, чем она могла получить сама. Крышу. Хлеб. Порядок. Имя среди честных людей. Не все девушки твоего положения сохраняют это, Аньезе.

— Я помню, синьор.

— Вот и хорошо. Верность начинается с памяти.

Она поклонилась и пошла мимо него. Ей казалось, что спина у неё стала слишком открытой. В любой миг он мог позвать её обратно, спросить о Лауре, о списке, о двери без ручки, о том, почему она вышла из комнаты пленника с лицом человека, который слышал не бред, а приговор. Но Джироламо не позвал. Он только сказал ей вслед:

— И ещё. Валькастро умеет делать из правды приманку. Не всякая правда ведёт к спасению. Некоторые ведут прямо к виселице.

Аньезе не обернулась. Она спустилась вниз с миской в руках, а каждое слово Джироламо шло за ней следом, как тихий стук трости по камню, хотя трость больше не стучала.

В прачечной она вылила грязную воду, замочила полотна, вымыла миску и так долго тёрла ладони щёлоком, что Роза, проходившая мимо с корзиной мокрых простыней, остановилась.

— Кожу сдерёшь, — сказала прачка. — Чужая кровь не смывается тем быстрее, чем сильнее трёшь.

— Это не кровь, — ответила Аньезе.

Роза посмотрела на неё пристально.

— Тогда хуже.

Аньезе ничего не сказала. Она боялась, что если откроет рот, оттуда выпадет всё сразу: список, южные ворота, имя Джироламо, угроза синьоры Изабетты, дверь без ручки, лоскут в золе. Но слова не должны падать. Слова надо класть туда, где они выдержат вес. Пока у неё не было такого места.

Она вернулась к обычной работе. День требовал от неё не мыслей, а рук. Нужно было сменить воду в кувшинах, отнести госпоже нагретые полотна, проверить, сухие ли салфетки для вечернего стола, помочь Джемме поднять корзину с хлебом, унести из малой гостиной чаши после визита нотариусского помощника. Но чем больше она делала привычных вещей,

тем сильнее чувствовала, как привычное отступает от неё. Дом, которому она служила, словно повернулся другим боком. Те же стены, те же лестницы, те же сундуки и ключи, но теперь в каждом предмете была не только польза, а вопрос.

Белланди действительно взяли её, когда ей некуда было идти. Это нельзя было вычеркнуть. После смерти отца, когда хозяин их прежней комнаты велел освободить жильё до конца недели, именно человек синьора Орlando пришёл с предложением: служба в хорошем доме, скромное жалованье, питание, место под крышей, защита имени. Аньезе тогда ещё не понимала, что защита имени в большом доме — это не подарок, а поводок. Но всё же поводок лучше улицы, если на улице голод, мужские руки и долговые люди, готовые продать сироту в любую мастерскую, где девичьи глаза быстро учатся смотреть в пол.

Синьора Изабетта в первые месяцы была с ней строга, но не жестока. Она велела Марте дать Аньезе целую простыню, когда выяснилось, что у девушки есть только старое покрывало. Позволила оставить отцовский ларчик с перьями, хотя Марта ворчала, что служанкам ни к чему хранить писарские вещи. Однажды, когда у Аньезе поднялся жар, госпожа прислала ей отвар не из кухонных остатков, а из собственной аптечной полки. Разве это ничего не значило? Разве можно было взять всё это, прожить три года под этой крышей, есть хлеб этого дома, носить его ключи, учиться его порядку, а потом вдруг решить, что верность кончилась, потому что раненый пленник назвал имя?

А если он лгал? Если Асканио ди Валькастро, человек войны, правда делал из неё дверь? Если Лаура была просто мёртвой девушкой, чьи вещи теперь случайно вплелись в чужую ложь? Если Джироламо, брат госпожи, капитан южных ворот, приходил ночью не как предатель, а как человек, несущий тяжесть защиты города? Если карта на столе Белланди нужна была совету для обороны, а не для измены? Если синьор Орlando говорил за дверью кабинета о закрытом суде потому, что открытый суд вызовет бунт? Если вся правда, которую собирала Аньезе, была не тканью, а кучей нитей, где каждая сама по себе ничего не доказывала?

Она почти убедила себя в этом к полудню. Почти.

Потом Марта велела ей идти в нижнюю кладовую за свечами для вечерней встречи.

— Не простыми, — сказала ключница, отдавая ей большой ключ от кладовой. — Толстые восковые, из третьего сундука. Синьор Орlando принимает людей суда. В малой зале должно быть светло, но без парадной роскоши. Поняла?

— Да, Марта.

— И не копайся там. Бартоло опять свалил старые книги счётов куда попало. Будто кладовая — это его брюхо, где можно держать всё, что не хочется видеть.

Нижняя кладовая находилась под восточным крылом, рядом с помещением для старых ковров и дорожных сундуков. Там всегда пахло сухой кожей, пылью, мышами, воском, старой бумагой и сыростью камня. Аньезе любила это место в первые месяцы службы: здесь редко кричали, вещи лежали спокойно, а на старых ящиках можно было, если никто не видел, провести пальцем по надписям и вспомнить отца. Потом она привыкла, как привыкают ко всему, что не принадлежит тебе.

Сейчас, открыв дверь, она сразу заметила, что в кладовой недавно кто-то был. Пыль у порога смазана. Один из сундуков с дорожными ремнями стоял не на своём месте. На столике, где обычно держали огарки и верёвки, лежали три пергаментных листа, придавленные пустым подсвечником. Бартоло и правда оставил счётные книги открытыми, но не беспорядочно. Скорее так, будто его позвали посреди дела, и он рассчитывал вернуться.

Аньезе зажгла маленькую лампу, взяла свечи из третьего сундука, как велела Марта, и уже собиралась уйти. Умная служанка не смотрит на чужие счета. Верная служанка не проверяет дом, который дал ей хлеб. Напуганная служанка тем более не суёт лицо в бумаги, из-за которых люди с печатями могут решить, что она слишком грамотна для жизни.

Но взгляд зацепился за слово «охрана».

На верхнем листе было написано: «Расходы на сопровождение южного каравана. Месяц святого Мартина». Ниже шли строки: оплата двадцати вооружённых людей; закупка болтов для арбалетов; ремонт трёх седел; покупка чёрного сукна; красная нить; железные наконечники; сушёное мясо; две бочки смолы. Рядом стояла печать Белланди и подпись Бартоло. Само по себе это ничего не значило. Купеческие караваны нуждались в охране. Южная дорога была опасна. Смола могла быть для ремонта повозок. Чёрное сукно — для плащей караванщиков. Красная нить — для меток на тюках.

Но дата.

Аньезе поднесла лампу ближе. Запись была сделана за четыре дня до резни в Санта-Марте.

Она переложила лист и увидела второй. «Дополнительный расход на людей у старой мельницы». Старая мельница. Та самая, о которой говорил Асканио. Здесь не было слова «оружие», но были «железные изделия», «ремни», «ночное довольствие», «плата проводнику». Проводника звали Пьетро Сальви, и рядом с его именем стояла отметка: «через брата синьоры». Рука Бартоло была аккуратной, но спешной. Последняя строка была зачёркнута, однако Аньезе смогла разобрать несколько слов: «не писать о знамени».

Ей стало так холодно, что лампа дрогнула в пальцах.

Она поставила её на стол, прижала ладони к краю дерева и заставила себя дышать. Бумаги не кричали. Не обвиняли. Не объясняли. Они просто лежали, как все настоящие доказательства: тихо, терпеливо, с датами и суммами, которые сильные люди считают безопаснее человеческой памяти. Отец когда-то говорил ей, что самые страшные преступления редко выглядят в книгах страшно. Их записывают как расходы, поставки, благодарности, мелкие услуги. Кровь в счётах всегда меняет имя.

Она начала просматривать листы быстрее. Ещё одна запись — оплата ночного поста у южных ворот за день до прибытия пленника. Ещё — покупка дешёвых печатных листов у мастерской Матео Ферри, якобы для объявления о сборе пожертвований в госпиталь. Ещё — «особая вышивка для покрыва, без внесения в домашний счёт». Сумма небольшая, но рядом стояла странная отметка: «по старому образцу Л.». Л.

Лаура.

За дверью кладовой скрипнула ступень.

Аньезе быстро вернула листы на место, но руки работали слишком поспешно. Один край лег неровно. Она потушила лампу пальцами, обожглась, схватила свечи и отошла к третьему сундуку так, будто только что закрывала его. Дверь открылась, и в кладовую вошёл Бартоло, управляющий. Невысокий, сухой, с аккуратно подстриженными ногтями и лицом человека, который всю жизнь прятал трусость под исполнительностью.

— Ты что здесь делаешь? — спросил он.

— Марта велела взять свечи для малой залы.

— Почему так долго?

— Сундук заедал.

Он посмотрел на сундук, потом на её руки. На большом пальце у неё выступила капля крови от ожога. Бартоло заметил её, но понял неправильно.

— Порезалась?

— Щепка, мессер Бартоло.

Он подошёл к столу и сразу увидел листы. Его лицо почти не изменилось, но шея покраснела пятном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.